

- ○ [Два зверя. Статьи 1906—1919 гг.](#)
  - [Свобода и бессмертие](#)
  - [Два зверя \(Старое и новое\)](#)
  - [Старое и новое \(Вместо предисловия\)](#)
  - [Всеобщее, прямое, тайное и равное](#)
  - [Древний философ на современные темы. Беседа с Платоном](#)
  - [Два зверя](#)
  - [Максимализм](#)
  - [Буря](#)
  - [Гоголь и Россия](#)
  - [Старый и новый национальный мессианизм.](#)
  - [Смысл войны](#)
  - [Национальный вопрос, Константинополь и Святая София.](#)
  - [Война и мировая задача России.](#)
  - [Отечественная война и её духовный смысл](#)
  - [Великая революция и кризис патриотизма.](#)
- [Примечания](#)
  - [1](#)

---

<b>Введение</b>
-----------------

Содержание

---

**Два зверя. Статьи 1906—1919 гг.**

## Свобода и бессмертие

К годовщине смерти кн. С. Н. Трубецкого

(Из вступительной лекции, читанной в Московском университете)

Вступив впервые на порученную мне Московским университетом кафедру за несколько дней до годовщины смерти моего брата, я думаю, что не выйду из пределов моей академической задачи, если в первом же моем вступительном слове напомним вам о нем. Для меня это совершенно неизбежно.

Во вступительной лекции профессор обыкновенно высказывает слушателям свое *credo*. Я счастлив, что здесь, в Московском университете, я могу высказать его двумя словами. Я пришел сюда за гробом моего брата продолжать его дело, служить тем же идеалам, которым он служил, и учить тому же, чему он учил.

Нужды нет, что я читаю на другом факультете и занимаю другую кафедру. Мне придется здесь излагать в одной аудитории историю философии права, а в другой — беседовать о сущности и смысле права. Но для меня оценка права вытекает из того миропонимания, которое у меня общее с моим братом.

Говоря о нем, я переношусь мыслью к тому, что было год тому назад, когда Московский университет, а с ним вместе вся Москва собрались для последней, посмертной его встречи.

Мы шли за его гробом, пораженные ужасом смерти; но в этом шествии чувствовалось что-то, что приподнимает над смертью и примиряет с нею. Ибо для тех, кто нес этот гроб, он олицетворял собою что-то такое, ради чего стоит жить и умереть. Вокруг него мы видели кипение молодой, сильной жизни, которая порывалась высказаться и бодро глядела в будущее. В эту минуту каждый чувствовал, что знаменосец пал, но знамя, которое он держал в руках, победило и собрало вокруг себя новых последователей.

И в самом деле, это было какое-то посмертное торжество! Ибо он принадлежал к числу тех, которые учат не только словом, но жизнью и самою своею смертью. Он, проповедник бессмертия, учил, что смысл жизни раскрывается за гробом, что этот смысл заключается в тех ценностях, которые переживают личность и будут существовать, когда

наши кости истлеют. И действительно, за его гробом этот смысл раскрылся многим.

Я говорю многим, но не всем, потому что современники поняли его односторонне. На венках, которые были во множестве возложены на его могилу, мы читали преимущественно одну надпись: «Борцу за свободу». И точно, он был таковым. Эта борьба надломила его силы: она-то и причинила ему тот недуг, который свел его в могилу. Поэтому ошибка была не в том, о чем говорили эти надписи, а в том, о чем они умалчивали. Современники ценили общественного деятеля; философ, учитель жизни остался для большинства из них неразгаданным и непонятым.

А между тем в его философии заключалась душа его общественной деятельности; она поднимала его на борьбу и окрыляла его слово. Смысл свободы для него был в том же, в чем он видел смысл жизни. И как ни парадоксальным вам это может показаться, он был борцом за свободу, потому что был учителем бессмертия.

Борьба за свободу — всепоглощающая задача нашего времени. И именно потому, что мы поглощены ею, она иногда кажется нам единственной. Временные интересы застилают наш взор, и нам нужны иногда невероятные усилия, чтобы подняться над временем. Тем не менее я надеюсь быть понятым, ибо в самой борьбе за свободу есть что-то такое, что приподнимает над смертью и свидетельствует о связи человека с вечностью.

Прежде всего в этой борьбе мы преодолеваем страх смерти, мы возвышаемся над животным инстинктом самосохранения. Человек, действительно преданный делу свободы, всем своим поведением доказывает, что этот страх не имеет над ним власти. Ради свободы он готов жертвовать всем: здоровьем, имуществом, счастьем, даже жизнью. Мы ценим эти жертвы. Мы презираем того, кто бережет себя и не хочет жертвовать собою для общего блага.

И я утверждаю, что в этом служении свободе, в этой высокой ее оценке есть искание бессмертия. Человек жертвует собою только тогда, когда он верит, что есть что-то великое, неумирающее, что его переживает. Во всяком героическом подвиге, во всяком акте самопожертвования есть эта сознательная или бессознательная вера в какой-то посмертный смысл жизни, который выходит за пределы личного существования.

Этим подвигом мы заявляем, что не стоит жить для нашего личного удобства, счастья, эгоизма, что смысл жизни каждого из нас в каких-то непреходящих мировых целях. И оттого-то самая мысль о бескорыстном подвиге так возвышает душу. Мы чувствуем, что этим подвигом личность перерастает самое себя, ибо она вращается в мировое целое и увековечивает себя в нем: ее жизнь вливается в неумирующий поток жизни общей. И мы говорим себе: пусть я умру; есть ценности, которые не умирают: в них отдельный человек найдет оправдание своего существования.

В обществе утвердился взгляд, что такую ценностью, ради которой стоит жить и умереть, является свобода. Чем объясняется такая высокая ее оценка? Прежде всего, как бы ни была велика ценность свободы, ясно, что сама по себе она не может быть последнею, окончательною целью нашего существования. Ее ценность не в ней самой, а в человеке, для которого она предназначена служить орудием. Мы не могли бы ценить свободы, если бы мы не уважали человека, если бы мы не признавали в нем существа, достойного свободы.

Тут необходимо обратить внимание на одну характерную особенность нашего понимания свободы: как бы оно ни было демократично по отношению к человеку, оно в высшей степени аристократично в смысле космическом, мировом. Мы требуем свободы для всякого человека как такового; но мы требуем ее для него одного: никому никогда не приходило в голову требовать ее для бессловесных тварей. Животных мы эксплуатируем, приспособляем к нашим целям; мы превращаем их в наши орудия, и, наконец, мы их поедаем. Для человека же мы требуем прав: не только бесправие, но и всякое умаление прав человека нас глубоко возмущает!

Тут сказывается антропоцентрический характер нашего нравственного и правового сознания. Для нас человек — центр вселенной, и не только центр, но владыка и царь. На этом предположении покоится вся наша жизнь и деятельность и все наше понимание свободы. Требуя свободы для человека, и для него одного, мы тем самым заявляем о каком-то коренном его отличии от внешней природы, которое делает его существом высшим, единственным в своем роде. Мы этим показываем, что есть целая бездна, которая

отделяет в наших глазах человека от животного царства, что он для нас — перворожденный всей твари.

И это отличие от низшей твари у нас у всех общее, всем одинаковое. Всех людей отделяет от животного царства одна и та же грань, одна и та же пропасть. Поэтому мы требуем для всех людей одинаковых прав. Мысль о свободе для нас не отделяется от мысли о равноправии.

Нетрудно убедиться, что самое понятие свободы неразрывно связано с представлением о каком-то особенном, совершенно исключительном достоинстве человека. Это понятие включает в себе два существенных признака. Во-первых, свобода, как личная, так и общественная, есть всегда независимость от чужого произвола. Во-вторых, она всегда есть возможность самоопределения, власть лица над собою и над внешним миром вещей. Мы называем свободным того человека и тот народ, который не зависит от внешнего гнета, не подчиняется неограниченному господству чужой воли, сам располагает своими судьбами и управляет собою.

Отсюда ясно, почему обладателем свободы, в наших глазах, является только человек. Чтобы располагать собою и властвовать над внешним миром, нужно обладать разумом; лишенные разума животные подвластны по природе: царство подобает только разуму! Достоинство свободы только такое существо, которое может разумно устроить свою жизнь.

И мы требуем свободы для человека в силу этого его царственного помазания! Во всех видах и формах свободы мы уважаем только разум. Мы ценим свободу мысли потому, что мысль в оковах неспособна к творчеству: для творчества нужен свободный полет; без свободы исследования невозможна наука! Мы ценим свободу слова, потому что без нее невозможна передача и усвоение мысли. Мы требуем неприкосновенности личности, потому что уважаем в каждом человеке индивидуального носителя разума. Мы требуем политической свободы, потому что уважаем коллективный разум народа. Во всех видах свободы мы ценим ту возможность беспрепятственного проявления разума, которая служит залогом его победы. В этой победе — наша цель, и в ней — источник нашего воодушевления. Свобода — это крылья разума!

Но сорвите с человека его царственный венец, развенчайте разум, и здание свободы разом рухнет, ибо вместе с разумом рушатся все наши человеческие ценности. Упраздните эту грань между человеком и животным царством; тем самым вы ниспровергнете самые основы правового порядка и возвеличите деспотизм. Тогда человек совершенно равноправен животному: его можно обращать в орудие. Если человек есть червь, то его дозволительно раздавить.

Тут мы сталкиваемся с одним из важнейших философских вопросов. Вера в разум и его грядущую победу возможна только с точки зрения определенного миропонимания — того, которое верит в смысл жизни мировой. Чтобы верить в эту победу, нужно знать, допускается ли она законами вселенной, не является ли в ней человеческий разум одиноким и чуждым? Что значит вообще разум в мироздании?

Отвечая на этот вопрос, нужно считаться с тем философским пессимизмом, который учит, что разуму нет места в строе вселенной. В этом случае в ней не найдется места и для человеческого разума, ибо среди бессмысленной вселенной он может быть лишь частным проявлением всеобщей бессмыслицы.

Из новейших мыслителей к такому выводу приходит, между прочим, Ницше. Он видит в человеческом разуме некоторого рода дурачество мировой стихии. «Во всем существующем, — говорит его Заратустра, — одно представляется невозможным — разумность. Правда, по планетам рассыпано немного мудрости: эта закваска примешана ко всем вещам. Дурачества ради ко всем вещам примешана мудрость».

Иными словами, это значит: разум — не более как привилегия ничтожнейшей разновидности органического мира — человека. В мировой жизни вся коллективная работа человеческого разума не имеет значения; в самой жизни человечества область сознательного, разумного — ничтожнейший отдел. Сознание — одна из функций нашего организма — одно из средств для поддержания существования и укрепления могущества человеческого рода. И Ницше приходит к безотрадному выводу: разум — это сфера заблуждений, спасительных для человеческого рода!

Для нас в высшей степени важно оценить теоретические основы этого воззрения. Если оно верно, то вся наша антропоцентрическая

этика разом рушится. Тут наша этика приходит в конфликт с нашим научным мирозерцанием. Вся наша жизнь, все наше поведение построены на том предположении, что человек — центр вселенной. А между тем естественные науки как будто указывают, что он — ничтожнейшая ее часть, что вся наша цивилизация — не более как скоропреходящая плесень земли. Об это по-видимому, свидетельствует астрономия. Глядя на свод небесный, невольно спрашиваешь себя, какую роль играет разум среди этих бесчисленных миров? Может ли он сравниться с теми неподвижными созвездиями, которые вечно сияют на тверди, или с падучими звездами, которые неизвестно откуда появляются в мраке и так же быстро исчезают, оставляя по себе скоропреходящий огненный след? Этот вопрос имеет самое близкое отношение ко всему, что нас здесь на земле волнует, ко всем нашим практическим задачам и злобам дня.

Мы знаем, что наступит день, когда наша земля в виде обледеневшей глыбы будет носиться вокруг потухшего солнца; и мы хотим дать нашей жизни какое-то разумное устройство! Не безумны ли эти попытки? Не представляют ли они собою сплошное «дурачество разума»?

Я недаром заговорил о падучих звездах! Это — немые свидетели ужасающей мировой драмы. Мы знаем, что это — осколки распавшихся миров, развалины планет. Когда-то, быть может, и они были населены разумными существами, которые, подобно нам, гордо мечтали о своем достоинстве, боролись с деспотизмом, требовали себе земли и воли. Зачем они это делали и зачем мы все это делаем, раз нам предстоит равно та же участь? Не все ли равно, случится ли это сегодня, завтра или через несколько тысяч лет? Что значит в мировой жизни время? Разве в ней несколько тысячелетий не то же, что секунда? И не есть ли этот неизбежный конец полное посрамление человеческого разума!

Чтобы видеть это посрамление, не нужно обращаться к астрономии: достаточно совершить прогулку на кладбище. Тут мы найдем безобразную, возмутительную пародию на все наши идеалы и формулы: тут и всеобщее равноправие без различия вероисповедания, национальности, пола и даже возраста; и полное осуществление четырехчленной формулы, потому что могильные кресты олицетворяют ожидающий каждого из нас всеобщий, прямой, тайный

и равный жребий; наконец, тут же мы найдем и окончательное разрешение земельного вопроса, ибо, говоря словами Л.Н. Толстого, на кладбище каждый человек получает в надел как раз столько земли, сколько ему нужно.

И величайший уравнитель — смерть — пошла дальше самых смелых наших утопий: она сорвала с человека его царственный венец и уравнила его с прахом. Неужели эта республика мертвецов — окончательный венец усилий разума!

Какую же ценность при этих условиях может иметь для нас разум? Если он посрамлен и одурачен, то с ним вместе ниспровергнуты все наши человеческие ценности — наша вера в прогресс, наша любовь к ближнему и тот бескорыстный подвиг, которым мы думали себя увековечить! Что же нам уважать, перед чем преклоняться в человеке? Что остается от всего нашего ценного, великого, святого? Разве смерть не превращает в недостойный обман все наши святыни? И если торжество смерти будет окончательным, то самое наше негодование утрачивает смысл: тогда нам уже нечем возмущаться.

И прежде всего, разве эта гибель всего существующего, разве это исчезновение разума не возмутительнее всех деспотизмов в мире? Что значат по сравнению с этим безобразием вселенной все наши человеческие безобразия, все наши казни, убийства, издевательства над личностью! Деспотизм сеет смерть! Но ведь он — частное проявление того всеобщего царства смерти, которое лежит в корне вещей, того мира, который весь во зле лежит. Чем нам возмущаться, если мы не возмущаемся самым фактом смерти? И что дает нам силу выносить жизнь, столь явным образом неразумную и бессмысленную?

Ответ на это может быть только один: мы просто не верим в смерть и не можем в нее поверить; несмотря на все то, что мы видим и знаем, вера в смерть не уместается в человеческом сердце. Мы признаем ее умом, мы считаемся с нею в наших рассуждениях, но отрицаем ее всем нашим существом, самую нашу жизнь: ее наша душа не принимает. И потому-то окружающая бессмыслица нас не смущает!

Знаем ли мы про то или не знаем, в основе нашей жизни лежит вера в скрытый для нас разум вселенной и в его окончательную победу. Это одно дает нам силу жить и принимать жизнь. Если бы эта надежда

не жила в человеке, если бы она не таилась даже в тех, кто умом ее отрицает, то вскоре ужас смерти заморозил бы всякое воодушевление, убил бы всякую деятельность и остановил бы самую жизнь: ибо нет того человеческого дела, которое бы не обесценивалось смертью!

Чтобы жить и действовать, нужно верить, что есть над нами солнце, которое не погаснет, что мы работаем не для могильного червя и что человеческое достоинство не есть иллюзия. Нам нужно достоверно знать, что мир идет к цели, что не погибнет человек и не сгорит то дело, в которое мы вкладываем душу.

Напрасны попытки доказать эту веру: она предполагается всяким движением нашего ума и сердца, самую нашу мыслью и даже доказательствами. Но так же невозможно изгнать ее из нашего сердца. Если изгнать ее из сознания, она все-таки будет жить где-то за порогом сознания, в тайниках нашей души: она есть то, чем мы живем и движемся.

Теперь, надеюсь, вам понятно то, что я сказал о связи свободы и бессмертия. В бессмертии — смысл свободы и ее ценность. Эти крылья нужны человеческому разуму только в том случае, если он действительно может высоко подняться над землей, если он способен к тому творческому акту, для которого нужна свобода, если он действительно может создать что-либо великое и прочное, что не уничтожится. Свобода подобает человеку, как сосуду Безусловного. Признание свободы — это та дань уважения, которую мы платим бессмертию.

В заключение позвольте вернуться к воспоминанию о том покойном профессоре Московского университета, который связал свое имя со служением свободе и с проповедью бессмертия.

В наши дни уныния и упадка духа есть что-то бодрящее в этом воспоминании. Унывать не может тот, кто видит смысл над окружающей бессмыслицей, кто сознает величие стоящей перед нами цели. Цель эта дает уверенность в победе, ибо если человек — носитель неумирающей, вечной правды, то нет той власти, которая могла бы лишить его его царства, и нет той силы, которая могла бы его раздавить. Но помните, правда не в той ненависти, которая сеет смерть, а только в той любви, которая созидает жизнь. И когда вы проникнетесь этой любовью, вы всем сердцем почувствуете, для чего нам нужна свобода.

Она нужна нам для созидания той новой, неумирающей формы жизни, коей свободный человек является предвестником. Она нужна нам для очеловечения России.

## Два зверя (Старое и новое)

*И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела.*

*([Апок. 13:11-12](#))*

## Старое и новое (Вместо предисловия)

Печатаемые здесь статьи уже были мною помещены в «Московском Еженедельнике» в 1906, 1907, 1908 и 1909 годах. И, однако, перепечатка их в наши дни не есть простое повторение. Из множества статей, помещенных мною в разных изданиях за тот же период времени, эти шесть не только остались современными, но приобрели новое значение и новый оттенок смысла, которого они не имели в момент первоначального их напечатания. Они вызваны переживаниями первой русской революции; между тем, вследствие повторения в наши дни в более широком масштабе тех же переживаний, они дают отклик и на события второй русской революции. Тем самым они освещают современные события как продолжение и развитие единого исторического процесса, объединяющего обе революции. В них характеризуются непреходящие явления русской жизни; а в некоторых (напр., в конце статьи «Два зверя», именем коей озаглавляется весь настоящий сборник, и в аллегории «Буря») читатель найдет в точности исполнившиеся предсказания.

И страхи и надежды в этих статьях в общем те же, что и теперь. — Они полны предчувствием надвигающейся, теперь — увы! — сбывшейся катастрофы. Предчувствия вызваны частью наблюдением той исторической закономерности в событиях реакции и революции, которая обуславливает изумительное сходство старого и нового (ср. статью о Платоне), частью же изучением русского народного характера, в коем во все века сказываются одни и те же черты (см. «Всеобщее, прямое, тайное и равное», «Максимализм», «Гоголь и Россия»). — А надежды на Россию теперь, как и прежде, неотделимы от мучительных за нее тревог, ибо поводом для тех и для других служит один и тот же ее духовный облик, тот самый, который характеризуется в статье о Гоголе. Из него рождаются и русский большевизм, и русское богоискательство, да и вообще все те противоположные влечения русской души, которые ее губят и спасают.

Само собою разумеется, что названные статьи перепечатываются безо всяких изменений, безо всяких приспособлений к событиям,

которые были предвосхищены ими. Под каждой статьей помечена дата ее первоначального напечатания.

Кн. Евгений Трубецкой

2 мая (н. ст.) 1918 года

## Всеобщее, прямое, тайное и равное

За последнее время мне неоднократно приходилось ездить из Киева в Петербург через Москву. — Это — тот самый исторический путь, который прошла Россия в процессе своего развития. И по пути мысль невольно обзревала весь этот процесс, который привел нас к настоящему нашему печальному положению.

Из окна вагона я не видел ничего, кроме всеобщего, прямого и равного. Это, если можно так выразиться, закон нашего равнинного существования. На расстоянии всего пути картина почти не менялась: я видел все ту же ровную, прямую поверхность и кое-где еле заметные бугры, которые почти не нарушали однообразия пейзажа. По привычке к четырехчленной формуле взор мой стал искать тайного; тут сгустился туман над полями; потом ночь скрыла все очертания равнины, и я увидел тайное. Когда я проснулся, предо мною красовалось кладбище, это классическое выражение всеобщности, равенства и тайны смерти, прямой жребий, предстоящий каждому из нас. А над кладбищем возвышалась церковь — тоже всеобщее, прямое, тайное и равное, но только в ином, лучшем значении этого слова.

Прислушаемся к этому немому языку символов; он поведает нам, что четырехчленная формула как в положительном, так и в отрицательном своем значении не есть что-либо новое в русской истории: в затаенной глубине нашего народного духа всегда боролись две тенденции, два противоположных понимания всеобщего равенства, из них одно находит себе воплощение в христианстве, другое приводит к всеобщему кладбищу; одно выражается в признании образа Божия во всяком человеке как таком, всеобщего нравственного достоинства; другое, напротив, уравнивает всех в общем ничтожестве.

Равнинный, степной характер нашей страны наложил свою печать на нашу историю. В природе нашей равнины есть какая-то ненависть ко всему, что прорастает плоскость, ко всему, что слишком возвышается над окружающим. Эта ненависть составляет злой рок нашей жизни. Она периодически сравнивала с землею все то, что над нею вырастало.

Когда начала расти Киевская Русь, степь стала высылать против нее рать за ратью полчища диких кочевников; и они уравнивали, т. е. жгли, истребляли, резали; в конце концов, татары все уравниали, т. е. все превратили в развалины. И когда на южной равнине окончательно воцарилось всеобщее равенство смерти, над равнинами севера стала медленно подниматься из развалин Московская Русь.

И в ней сказалась та же равнинная тенденция. Чтобы бороться против угрожающих извне уравнивательных стремлений татар, царская власть сама должна была стать единственной возвышенностью в стране и превратить в плоскость все то, что под нею; она покорила и поглотила отдельные княжества, превратила бояр в холопов; чтобы они не зазнавались, Иоанн Грозный рубил им головы. Деспотизм стремился всех уравнивать в общем ничтожестве рабства. Но, создав общее для всех иго, он не упразднил неравенства состояний. Над равниной уцелело много возвышенностей.

И вот в XVII веке против них ополчился Стенька Разин. Он хотел упразднить различие между богатыми и бедными и перестроить управление государством на начале всеобщих выборов. По-своему он «всех уравнивал», т. е. жег, грабил, вешал всех вообще дворян и богатых. Когда же сам он стал слишком заметною возвышенностью, его в свою очередь «уравнивали» московские палачи. В XVIII столетии Пугачев теми же способами делал то же дело и в заключение подвергся той же участи.

Перенесемся в нашу эпоху, и мы увидим повторение того же самого. Опять наша равнина освещена ярким заревом пожара: огонь грозит поглотить всю ту скромную культуру, которая над нею выросла. В нашей народной душе еще жив дух Стеньки Разина — об этом свидетельствуют погромы, аграрные движения, междоусобная война, происходящая в разных местах России. И самые способы уравнивания теперь — те же, что и в дни Разина: поджог, грабеж, насилие над личностью. Наконец, теперь мы видим то же распределение ролей между «уравнивателями»; сначала стали уравнивать преемники Разина; теперь их самих уравнивают преемники московских палачей.

Если мы расширим круг наших наблюдений, мы увидим, что теперь разрушается не одно только народное богатство, но и самая духовная культура: гибнет университет, рушится средняя школа; стихийное массовое движение грозит смести с лица земли самое

образование. И если до этого дойдет, то отрицательная всеобщность и равенство осуществляются у нас в виде совершенно прямой и ровной поверхности: то будет равенство всеобщей нищеты, невежества и дикости в связи с свободой умирать с голода.

Не такова цель совершающегося у нас освободительного движения; чтобы четырехчленная формула осуществилась у нас в ином, лучшем значении слова, нам нужен необычайный подъем всех наших духовных сил. Горит только то, что тленно. Противостоять всеобщему разрушению и пожару может только то, что стоит на вечной, незыблемой духовной основе.

Над кладбищем стоит церковь — олицетворение вечно воскресающей жизни. На нашей равнине это — та единственная возвышенность, которую смерть доселе не могла сровнять с землею. Среди переживаемых русскою жизнью периодических разрушений церковь одна выходила целою из пламени и вновь собирала воедино распавшееся на части народное тело. Деспотизм и ее подводил под ранжир всеобщего рабства; но он не мог нанести ей окончательного, смертельного удара. Духовная жизнь в ней помертвела, но не угасла. Теперь, когда рушится бюрократизм, державший Христа в оковах, и церковь готовится выйти на волю из тяжкого векового плена, она вновь должна стать средоточием нашей народной надежды.

Чтобы быть на высоте этой задачи, церковь сама должна освободиться от временных исторических наростов и явить миру во всей его первообразной чистоте христианский общественный идеал. Это прежде всего идеал положительной всеобщности и равенства, ибо во Христе нет различия между иудеем и эллином, между рабом и господином; в христианстве выражается и высшая тайна человеческого существования, и тот прямой путь, который ведет ко спасению.

Это — путь спасительный не только для отдельных лиц, но и для целых народов. То анархическое движение, которое на наших глазах разрастается, не может быть остановлено никакой внешней, материальной силой. Вещественное оружие бессильно, когда падает в прах весь государственный механизм. Только сила нравственная, духовная может положить предел всеобщему разложению, резне, грабежу, анархии общественной и анархии правительственной. Христианство — та единая и единственная нравственная сила, перед

которую у нас склоняются народные массы; иной у нас нет. И если русская демократия не определится как демократия христианская, то Россия погибнет бесповоротно и окончательно.

Для русского освободительного движения характерно то, что оно дорожит равенством более, нежели самой свободой. Оно готово предпочесть рабство частичному освобождению: между всеобщим равенством рабства и всеобщим равенством свободы оно не допускает середины. Оно не может мыслить иначе как в форме всеобщности. Черта эта составляет одно из проявлений того универсализма русского гения, который столько раз отмечался великими русскими писателями, в особенности Достоевским. Этот универсализм тесно связан с особенностями русской физической природы; здесь нет тех естественных преград, которые бы обособляли человека от человека: где нет гор, там нет и замков, — вот одна из причин, почему в России не было и нет почвы для образования сильной аристократии.

Универсализм русского гения и его демократизм — два выражения одной и той же сущности. Форма всеобщности и по тому самому демократические формы жизни составляют для нас историческую необходимость. От нас зависит только вложить в эти формы то или другое содержание, сделать выбор между массовым деспотизмом и демократической свободой, между господством силы и господством права. Самый выбор всецело зависит от того, насколько сильны в нашем народном сознании привитые христианством нравственные начала.

Есть два типа демократизма, два противоположных понимания демократии. Из них одно утверждает народовластие на праве силы; с этой точки зрения народ не ограничен в своем властвовании никакими нравственными началами: беспредельная власть должна принадлежать народу не потому, что народ — сила. Такое понимание демократии несовместимо со свободой: с точки зрения права силы не может быть речи о каких бы то ни было неприкосновенных, незыблемых правах личности. Если сила народа является высшим источником всех действующих в обществе норм, то это значит, что сам народ не связан никакими нормами: жизнь, свобода, имущество личности зависят всецело от усмотрения или, точнее говоря, от прихоти большинства. Таким образом понятая демократия вырождается в массовый деспотизм; о том, насколько он у нас силен, свидетельствует

ряд фактов нашей общественной жизни, и в особенности то изумительное пренебрежение к свободе слова, которое составляет печальную особенность наших нравов.

Другое понимание демократии кладет в основу народовластия незыблемые нравственные начала, и прежде всего — признание человеческого достоинства, безусловной ценности человеческой личности как таковой. Только при таком понимании демократии дело свободы стоит на твердом основании, ибо оно одно исключает возможность низведения личности на степень средства и гарантирует ее свободу независимо от того, является ли она представительницей большинства или меньшинства в обществе. Весь пафос свободы не имеет ни малейшего смысла, если в человеке нет той святости, пред которой мы должны преклоняться. Но признавать в человеке святость можно только с точки зрения определенного философского и религиозного мирозерцания. Если человек есть только временное, проходящее сочетание атомов материи, то проповедь уважения к человеческой личности, к ее достоинству и свободе есть чистейшая бессмыслица: об уважении к человеку можно говорить только в том предположении, что человек есть сосуд безусловного, носитель вечного, непреходящего смысла жизни.

Христианство учит, что человек есть «образ и подобие Божие». В сознании наших народных масс самое понятие о достоинстве человеческой личности неразрывно связано с этим христианским учением, поэтому спасение России всецело зависит от того, насколько этот принцип прочно утвердился в народном сознании. Только такое одухотворенное понимание демократии может совлечь с нее образ звериный и сообщить святость ее делу.

## Древний философ на современные темы. Беседа с Платоном

Так как Платон принадлежит к числу бессмертных мыслителей, я никогда не считал его умершим. И точно, вопреки историкам, мне пришлось убедиться, что он жив. На днях я его встретил и вступил с ним в политическую беседу. Зная, что он специально занимался вопросом о государственных переворотах и посвятил этому вопросу целую VIII книгу своей «Республики», я завел с ним разговор на современные темы. Сообщаю то, что может интересовать читателя русского политического журнала, и сопровождаю мое изложение ссылками на подлинный греческий текст нашей беседы.

Прежде всего в русской революции Платон указал мне действие общего закона. По его мнению, олигархическое государство всегда таит в своих недрах будущую демократию, так что государственный переворот тут рано или поздно является неизбежным, ибо в олигархии мы имеем, собственно говоря, не одно государство, а целых два — богатых и бедных, господствующих и управляемых; причем те и другие, сожительствовав вместе, находятся как бы в вечном заговоре друг против друга (VIII, 551). В этом раздвоении — источник слабости олигархии: она неспособна вести какую-либо войну; пользуясь вооруженною силою масс, она вынуждена бояться ее более, нежели неприятеля (VIII, 551).

Главная опасность здесь заключается в постепенном скоплении имуществ в немногих руках и в соответствующем прогрессивном обнищании масс: в конце концов, тут не остается никого, кроме чрезмерно богатых и нищих. Не имея ни участия во власти, ни заработка, ни имущества, простой народ как бы перестает быть составною частью государства. Массовая нищета рождает и массовую преступность. «Где в государстве мы видим нищету, там таятся и воры, и карманники, и святотатцы, и всяких злых дел мастера» (VIII, 552).

Классовые отношения обостряются в особенности в военное время, когда богатые и бедные встречаются в строю и наблюдают друг друга. Тут бедные не покажутся достойными презрения богатым. Наоборот, бедняк, исхудавший, прожженный солнцем, видит

выхоленных, тучных и привыкших к неге и лени богатых. Наблюдая их неумелость, робость и беспомощность, он приходит к тому заключению, что «наши, мол, господа ничего не стоят» и что они «своими пороками богатеют» (VII, 556).

Жажда материальных благ в олигархии, передаваясь от богатых, заражает бедных. Борьба за имущество вызывает борьбу за власть. И олигархия погибает, превращаясь в демократию «через ненасытную жажду богатства, того самого, что в олигархии считается высшим благом» (VIII, 555). «Демократия возникает, — по мнению Платона, — когда бедные, одержав победу, одних богатых убивают, других изгоняют вон, остальным же дают одинаковую с собою часть в гражданских правах и в должностях» (VIII, 556).

## II

Разговор зашел о русской демократии. Тут Платон стал несколько односторонен и тенденциозен, так как, по-видимому, он знаком только с демократией «большевистского» типа. При этом слова его до того современны, что, передавая их, я должен возможно ближе держаться к греческому тексту.

Прежде всего, по его мнению, демократическое государство «преисполнено свободы и в действиях и в речах, так что каждый здесь волен делать все, что ему угодно». «Каждый устраивает свою жизнь как ему нравится, а потому тут встречаются всевозможные типы людей. Изю всех форм государственного устройства эта кажется наипрекраснейшею: подобно пестрому платью, украшенному всевозможными цветами, демократия пестрит всевозможными нравами; и как женщинам и детям нравится пестрое, так и она вследствие этого многим кажется прекрасною.

Кто хочет заниматься государственным строительством, тот пусть идет в демократию; там, как на ярмарке форм общежития, он найдет все, что ему нравится. В образцах недостатка не будет. В этом государстве нет необходимости быть способным к управлению, чтобы управлять, и нет надобности подчиняться управлению, если этого не хочешь; нет нужды воевать, когда воюют другие, ни жить в мире, когда другие заключают мир, разве только сам захочешь мира. И если тебе придет в голову, ты можешь там судить и властвовать, хотя бы закон тебе воспрещал и то и другое. Чем это — не сладкая и не божественная жизнь?»

«Что может быть краше милости к осужденным? Не видал ли ты в этом государстве людей, которые, будучи присуждены к смерти или к изгнанию, тем не менее остаются, возвращаются в его среде и величаются как герои, словно никто этого не замечает и об этом не заботится». Люди все могут попирать ногами, если только они нравятся таким. «Таковыми и подобными сему свойствами обладает демократия — образ правления приятный, пестрый и анархический, одинаково дающий равенство равным и неравным» (VIII, 557—558).

### III

Из дальнейшей беседы оказалось, что Платон хорошо знаком с целым рядом современных явлений — с педократией, с демократической «диктатурой», с террором двух видов, с экспроприацией и в частности — с безвозмездным отчуждением земель. Неудивительно, что он полон самых мрачных предчувствий относительно будущего: он — того мнения, что демократия вообще таит в своих недрах тиранию и роковым образом должна в нее выродиться.

Переход к тирании, по его мнению, коренится в самой природе демократии; он подготавливается тем самым, что в ней всего сильнее, — «неумеренной жаждой свободы и небрежением всех прочих благ».

«Опьяненная сверх меры беспримесным вином свободы, демократия в конце концов обрушивается против правителей, если они недостаточно мягки и не дают широкой свободы: она наказывает их, как преступников и олигархов. Тех же, кто подчиняется властям, она презирает как раболепных и ничего не стоящих; публично и в частной жизни она воздает хвалу и честь равенству властителей с подвластными и подвластных с властителями. В таком государстве по необходимости свобода распространяется на все: она проникает в частные жилища; и под конец анархия вселяется в самых животных. Отцы привыкают равняться с детьми и боятся своих сыновей, сыновья же почитают себя равными отцам, не уважают и не страшатся их, дабы быть свободными... В таком государстве учитель боится своих учеников и льстит им и ученики презирают учителей, а также педагогов. Вообще же молодежь равняется со старцами, соперничая с ними в словах и в делах; а старцы спускаются до уровня молодежи в избытке угодливости и шутливых речей; они подражают молодым, дабы не казаться суровыми и деспотичными. Насколько здесь

домашние животные свободнее, нежели в других государствах, этому не поверит тот, кто сам этого не наблюдал. Согласно поговорке здесь собаки воистину становятся подобными их господам; ослы и лошади приучаются выступать свободно и величественно, и лезут на тех, кто не уступает им дорогу».

«Как нервны становятся здесь граждане! Когда в чьих-либо словах они увидят малейший намек на рабство, они тотчас приходят в нетерпение и негодование. В конце концов, они ни во что не ставят ни писанные, ни неписанные законы, дабы никому и ни под каким видом не быть подвластными».

«Таков тот прекрасный и юношеский образ правления, из коего рождается тирания» (VIII, 562—563).

Крайности всегда свойственно вырождаться в противоположную крайность. «В частной, как и в общественной, жизни чрезмерная свобода может перейти только в чрезмерное рабство». Происходит это таким образом.

В демократии есть три породы людей — прежде всего «расточители и бездельники; из них те, кто посмелее, стоят во главе, а более робкие за ними следуют; они подобны трутням, только одни с жалом, а другие без жала». Эти люди есть и в олигархии; но там они не в чести и удалены от власти, а потому бессильны и бездеятельны; «напротив, в демократии этот род людей за немногими исключениями стоит во главе. И те, кто повострее из их, говорят и действуют; прочие же сидят вокруг ораторской трибуны, шумят и не допускают, чтобы кто-либо возражал; так что за немногими исключениями все вершится в демократиях этим родом людей».

Другой класс в демократии — богатые: «это — то, что называется пища для трутней». Из этого источника истекает самый обильный и легко добываемый мед для трутней.

Наконец, третий класс — простой народ; это — рабочие, живущие личным трудом, и безработные, малоимущие; в демократии это — класс самый многочисленный и, когда он соберется вместе, наиболее могущественный. Но собирается он не часто, разве только когда нужно добыть меду. Он его и добывает, если только власть имущие в силах отнять имущество у богатых; они распределяют добычу между чернью, но большую часть присваивают себе.

Те же, кто подвергается экспроприации, «вынуждены защищать себя сами, как они могут, речами ли к народу или делами. При этом, если даже они не ищут перемен, противники всегда обвиняют их в заговоре против народа и в стремлении к олигархии. В конце концов богатые видят, что народ хотя и неумышленно, но по невежеству и поддаваясь обману клеветников, творит над ними неправду. Тогда уже они волей-неволей и взаправду становятся олигархами. К этому вынуждает их не добровольное решение, а тот трутень, который их жалит.

«Тогда начинаются обвинения, суды и взаимные преследования». На этой почве вырастает демократическая диктатура. "Обыкновенно народ отличает и берет себе в вожди кого-нибудь одного и этого одного лелеет и возвеличивает. Покровитель народа — вот тот корень, из которого рождается тиран».

В этом превращении сбывается легенда о Ликеоне, который, отведав человеческого мяса, превратился в волка.

Опираясь на послушные ему народные массы, демагог не гнушается кровью своих сограждан, возводит на них клеветнические обвинения, тащит их в суды и лишает жизни, оскверняя свои уста и нечестивый язык кровью ближнего, казнит и изгоняет, возвещая народу прощение долгов и раздел земель. Такому человеку не миновать своей судьбы, он должен или быть убит врагами, или же стать тираном и из человека превратиться в волка.

Таков зачинщик восстания против богатых. Понятно, что последние в свою очередь ищут против него защиты; если они не в состоянии добиться его осуждения или изгнания, они посылают к нему убийц.

Но на это есть прославленное средство, к которому прибегают все стремящиеся к тирании: они требуют у народа телохранителей, на что народ и соглашается. В конце концов, изгнав и истребив своих врагов, народный покровитель становится во главе государства в качестве тирана.

«В первые дни своего владычества он всем улыбается и всех ласкает, отрекается от имени тирана, дает широкие обещания в частных беседах и публично, освобождает от долговых обязательств и раздает земли простому народу, стараясь казаться милостивым и кротким окружающим и всем. Что же касается внешних врагов, то с

одними он мирится, других же истребляет, но, успокоившись с этой стороны, снова возбуждает войны, дабы народ нуждался в полководце». Это нужно и для того, чтобы обедневший народ, поглощенный заботами о хлебе насущном, не имел возможности строить ему ковы (VIII, 564—567).

Когда-нибудь «народ поймет, какое чудовище он родил, взлелеял и возвеличил!» (VIII, 569).

Таков тот путь, который, по мнению Платона, ведет от олигархии через демократию к тирании. Предстоит ли и нам до конца пройти этот путь, этого я от него узнать не мог. Одно я мог заметить в моих беседах с Платоном. Он не может простить афинской демократии того полного пренебрежения к высшим ценностям культуры, которое столь ярко выразилось в казни Сократа. Сократа мы покуда еще не умертвили, но его у нас и нет.

## Два зверя

Недавно окончившийся в Москве земский съезд дал яркую характеристику современного реакционного настроения. «Сначала репрессии, потом реформы», — вот основной тон этого настроения.

В резолюции, принятой съездом, оно проявилось в несколько смягченном виде: съезд признал необходимыми и реформы и репрессии. Но, как бы то ни было, и эта резолюция имеет смысл лишь в том предположении, что принятые доселе правительством карательные меры, в том числе и военно-полевые суды, не были достаточны.

Быть может, нигде психические корни реакции не обнаружались так наглядно, как здесь: от участников земского съезда я узнал, что из них лишь немногие не пострадали от погромов в течение двух последних лет. Озверевший помещик — прежде всего сын русской революции. Зверь, пробудившийся в революции, родил из недр своих звероподобную реакцию. Этим резюмируется сущность современного политического положения.

Оно чрезвычайно напоминает знакомые нам апокалиптические образы. Явился зверь, выходящий из моря. *«И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульными словами, и дана ему власть действовать сорок два месяца»* ([Откр. 13:3-5](#)).

После кратковременного владычества этого чудовища, смертельно раненного в голову, на смену ему является второе: *«И увидел я другого зверя, выходящего из земли: он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всю властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела»* ([Откр. 13:11-12](#)).

Вот образное выражение того процесса, который так часто повторяется в истории, повторился и у нас, в России: революция, смертельно раненная после кратковременного владычества, уступает свое место реакцией: а реакция, действующая «со всю властью»

революции, заживляет смертельную рану последней и заставляет снова ей поклоняться. Устами обеих говорит один и тот же «дракон»; в обеих — одна и та же звериная сущность. И обе вместе образуют тот заколдованный круг, из которого мы все не можем выйти.

## II

На вопрос о том, почему наше революционное движение получило смертельную рану, можно опять-таки ответить текстом Апокалипсиса: *«Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом»* ([Откр. 13:10](#)).

Наша революционная интеллигенция до сих пор только этим и занималась — убивала мечом и сама была убиваема; вела в плен и сама в него попадала.

Прежде всего это был плен духовный. Недавно П.Б. Струве объяснял особенности русской революции своеобразным сочетанием современных интеллигентных идей с элементарными народными инстинктами.

В действительности это сочетание свелось к простой капитуляции идей перед инстинктами; отсюда — полное их вырождение и упрощение. Вместо того чтобы просвещать народные массы, направлять и вести их за собою, интеллигенция ждала от них указаний и льстила их аппетитам. Демагогия и лесть упразднили всякую грань между свободой и анархией, между социализмом и грабежом, между демократией и деспотизмом.

Нет ничего нового под луной. Поэтому неудивительно, что характеристика, данная Платоном древним демагогам-софистам, целиком сохраняет свою силу по отношению к демагогии современной.

«Все положения их учения сводятся к мнениям толпы, которые она высказывает, собравшись вместе, и это они называют мудростью. Положим, кто-либо изучил движение гнева и страсти какого-либо большого, сильного и хорошо упитанного дикого зверя, — как к нему подходить, как с ним обращаться, чем и как привести его в ярость или успокоить, какие он издает при каждом случае звуки, какими звуками он укрощается или приводится в бешенство. Представим себе, что человек, изучивший все это долгим опытом, при большой затрате времени, назовет это мудростью; допустим, что он возведет свои наблюдения в науку и построит из них учение, не различая в этих

звериных мнениях и страстях, что хорошо и что дурно, что правда и что неправда, а назовет, сообразно со вкусами зверя, добром то, что нравится последнему, а злом то, что ему неприятно!» **Совершенно так, по словам Платона, поступают современные ему софисты.**

Описанное здесь зверопоклонство под видом народопоклонства составляет сущность «большевизма» всех времен. «Большинство не может ошибаться: прекрасное, истинное, доброе есть то, чего хочет его непогрешимая воля». В этом — основной большевистский догмат в наши дни, как и во времена Платона.

Для современных софистов, как и для софистов древности, идеи вообще лишены самостоятельного значения. Они ценны лишь в качестве «продуктов массового творчества». Современный марксизм учит, что они — лишь «отражения классовой борьбы в человеческих головах».

С этой точки зрения не может быть речи о какой бы то ни было неизменной истине: идеи-отражения так же изменчивы, как и то настроение толпы, которое они в себе отражают. Они перестают быть истинными, как только они перестают нравиться.

Всего любопытнее, как отразилось это рабство идеи перед инстинктом в судьбах самого русского марксизма.

По прямому смыслу учения Маркса путь к социализму есть концентрация богатств в немногих руках и связанная с этим постепенная пролетаризация массы. С этой точки зрения последовательный марксизм должен был бы видеть спасение России в развитии крупной промышленности и крупного землевладения. Понятно, что это учение, выросшее в чуждых нам условиях, не могло стать популярным среди нашего крестьянского населения. Тут оно оказалось в коренном противоречии с «элементарными инстинктами».

И что же! Народный инстинкт переделал ученье, обратил его в ей противоположное. Наши социал-демократы проповедуют то самое, что представляется с точки зрения Маркса величайшей и непростительной ересью: «революционные выступления крестьянства вплоть до конфискации частновладельческих земель» — экспроприацию и захват земель в частную собственность! Марксизм на русской почве отрекся от самого себя, отбросил все те элементы своего понимания истории, которые не пришлись по вкусу «большому зверю».

Решающее значение тут имели не какие-либо научные соображения, а тот простой арифметический аргумент, который решал и во дни Платона. Народ хочет всей земли, и в полную собственность. А помещиков всего сто тридцать тысяч.

Ergo! — помещики должны быть сметены.

Русский марксизм последователен по крайней мере в одном отношении. Он всегда был и на русской почве остался чистейшим аморализмом. Поэтому, когда русские социал-демократы учат, что помещики должны быть сметены не потому, что этого требует справедливость, а потому, что народ — сила, они по крайней мере верны своему учителю.

Маркс всегда относился отрицательно к попыткам этического обоснования революции: с его точки зрения, перевороты социальные и политические обуславливаются не соображениями справедливости, а экономической необходимостью.

В ином положении находится наш народнический социализм, который хочет быть прежде всего социализмом «этическим».

С точки зрения этического социализма можно оправдать всеобщую экспроприацию частных собственников, всеобщую социализацию земель и орудий производства. Но конфискация одних земель при неприкосновенности капиталистического строя, безвозмездная экспроприация одних помещиков, и только потому, что их мало, тут представляется вопиющей непоследовательностью, а стало быть, и неправдой. С этой точки зрения почему, например, не подвергнуть конфискации одних богатых евреев? Ведь они также составляют ничтожное меньшинство среди русского населения!

Стоять за конфискацию имущества одних землевладельцев — значит признать тот общий принцип, что воля большинства может лишить каких угодно имущественных прав любую часть населения. Если, став на эту точку зрения, мы спросим, почему в настоящее время конфискации должны подлежать только земли, а не капиталы, то на это можно дать только один ответ: потому что сегодня народ требует одних земель, а не капиталов.

С точки зрения социализма этического это должно было бы считаться простым грабежом. Однако широкие слои нашей интеллигенции не чувствуют всего возмутительного безобразия частичной конфискации, этой сделки, извращающей природу

социализма. И это служит одним из наиболее ярких доказательств крайнего упадка нашего правового сознания.

На русской почве социалистические партии теряют свой социалистический облик и вырождаются в древнерусские разбойничьи формы пугачевщины. Как по направлению, так и по инициалам первым эсером у нас, без сомнения, является Стенька Разин. Капитуляция идей перед инстинктами имела своим последствием крайнее опрощение русского революционного движения, вырождение его в старую, еще допетровскую форму. В этом — злой рок русской революции и главная причина ее крушения. Неудивительно, что правительству удалось осадить это первобытное бунтарство теми же примитивными средствами, которые применялись с успехом уже в дни Разина.

### III

Нетрудно убедиться, что реакция черпает свою силу именно в слабостях нашего революционного движения. Второй зверь живет раной первого.

Элементарный инстинкт, перед которым капитулировало это движение, в конце концов, — сила центробежная, разрушительная для всякой общественной организации, в том числе и революционной. Нетрудно убедиться, что он уже теперь в целом ряде случаев обращается против революции. Революция должна была рухнуть, как всякое здание, построенное на песке.

Уже осенью минувшего года мне пришлось высказать, что революцию невозможно построить на аграрных беспорядках. Теперь, когда с весны они возобновились с новой силой, более чем когда-либо уместно об этом напомнить.

Аграрные волнения не объединяют, а, напротив, разъединяют крестьянские массы, ибо общий предмет их вождения — помещичья земля — в конце концов становится яблоком раздора между самими крестьянами.

Насильственно захваченные земли, как и всякое вообще чужое добро, впрок не идут. Крестьянские движения никогда не сливаются в широкую волну: они всегда носят характер частичный, местный, дробный. Они легко вырождаются во всеобщий взаимный грабеж. Но, дойдя до этой точки, они обыкновенно тотчас вызывают против себя среди самого крестьянства обратную, реакционную волну.

Война против помещиков естественно переходит в войну против всех. А это и есть та атмосфера, которая воспитывает деспотизм и реакцию, ибо междоусобная война вызывает всеобщую жажду порядка, власти, мира во что бы то ни стало. Утомленное кровавою оргией население готово мириться со всякой диктатурой. Отсюда и рождается второй зверь, действующий силою и властью первого, то чудовище, которому еще в XVII веке Гоббес дал имя смертного бога — Левиафана.

В России он уже родился. И опасность тем сильнее, что реакция встречает у нас поразительно слабое сопротивление. В этом отношении история второй Государственной Думы в высшей степени поучительна.

Крайние партии хотели сделать ее трибуной для революционной агитации. Но ведь для того, чтобы достигнуть хотя бы этой цели, нужно было принести с собою в Думу какой-нибудь запас идей. Раз Дума лишена реальной власти, она может действовать только как идейная сила. Какую же идейную силу представляли собою левые депутаты?

Весь их идейный багаж сводился к неустанному провозглашению голого формального принципа народной воли. Вместо того чтобы наполнить ее содержанием, объединить ее каким-либо общим идеалом, они преклонялись перед нею и служили ей нескончаемый молебен; и этим окончательно парализовалась всякая законодательная работа.

Правда, попытка направить народную волю на определенное содержание была сделана. Крайние депутаты говорили: «Вся земля безвозмездно всему народу, потому что так хочет народ». Но мы уже видели, что земля — именно тот лозунг, который по самой природе своей не объединяет. Он прикрывает собою раздор частных интересов, частных вожделений, appetитов, которые не могут слиться в общем порыве, потому что они по существу враждебны друг другу. Какое может быть единение между людьми, из коих каждый хочет захватить в свое обладание одну и ту же полосу, один и тот же клочок земли! Один крестьянин основывает свое право на помещичью землю на том, что у него мало земли; другой, у которого земли больше, отвечает: «Не тронь, это — земля нашего помещика»; население малоземельных районов жаждет наделения в районах, где имеются большие запасы земли; а жители этих последних готовы с кольями принять

переселенцев. Каждый хочет земли для себя, и никому нет дела до всего народа.

Из этих центробежных стремлений не может сложиться единая народная воля. Тот кумир, перед которым преклонялись левые депутаты, в конце концов оказался фикцией и рассыпался в прах. Печальный конец второй Думы как нельзя более наглядно доказывает, что единой народной воли они не нашли и не выражали. Они достигли как раз противоположного результата — объединения обеспеченных классов, и в частности землевладельцев, — против революции на почве классового инстинкта.

Вот объяснение той силы, которую приобретает у нас реакция, того слабого противодействия, которое она встречает. Интеллигенция жестоко наказана за свою безыдейность, лесть и зверопоклонство. Она вела в плен к первому зверю и сама попала в плен ко второму.

Теперь уже не из демократического, а из противоположного, реакционного лагеря мы слышим победный клич: «Кто подобен зверю сему!» Произошло роковое недоумение: народ искал руководителей и учителей, а вместо того нашел льстецов; крестьянин ждал от своих депутатов реальных благодеяний, тех законодательных реформ, которые должны были обновить и улучшить его долю. Вместо того он слышал лишь докучливое эхо, которое повторяло вслед за ним «про землю» и дразнило его частный аппетит. И народ отвернулся от своих руководителей. Он отнесся с полным равнодушием к их участи, когда власть наложила на них руку.

Грянет гром, и мужик перекрестится. Это — первое, с чего нам следует начать после грома 3 июня. А второе, что нам следует сделать, это — окончательно вырвать нашу мысль и душу из околдовавшего нас плена, сбросить с себя путы нашего рабства. Ибо как первый, так и второй зверь готовят нам одну и ту же гибель. Первый ведет в плен ко второму, а второй заставляет поклоняться первому.

Что реакция может исцелить смертельную рану революции, это нетрудно предвидеть уже теперь. Закон 3 июня, как уже мы имели случай говорить, поставил землевладельцев против народных масс и против инородцев. Он создал в их пользу привилегию, которая может стать началом ужасного конца. Если привилегированные классы воспользуются данной в их руки властью только для того, чтобы удовлетворять свои аппетиты, если они забудут про народную нужду и

будут думать только о себе, они подготовят неслыханные доселе ужасы. При первом внешнем потрясении Россия может оказаться колоссом на глиняных ногах. Класс восстанет против класса, племя — против племени, окраины — против центра. Первый зверь проснется с новой, нездешней силой и превратит Россию в ад.

Глубокая трещина, уже образовавшаяся между Думой и народными массами, грозит превратиться в бездну, в которую все провалится. Попытаемся же перекинуть мост, пока еще не упущено время.

## Максимализм

В том колоссальном успехе, которым пользуется в России ибсеновский Бранд, поражает в особенности одна черта: восторженное поклонение относится в данном случае не столько к Ибсену, сколько к самому Бранду, успевшему за короткий срок стать героем нашего времени, идолом русской интеллигенции.

Энтузиазм с первого взгляда — малопонятный, потому что в личности Бранда неясно самое главное: какому Богу он поклоняется, чему учит, куда ведет своих последователей.

В чем заключается тот жизненный идеал, ради которого он отвергает мать, жертвует женою, сыном и, наконец, самим собою, — на это вряд ли кто-либо даст определенный ответ. Он где-то высоко над низменностью, этот идеал, в горах, куда Бранд уводит свою паству. Но вместо цели и смысла, ради которого стоит жить, жертвовать собою и другими, мы видим на этих горных вершинах ибсеновской драмы только снег и лед, который убивает всякую жизнь, прикрывает и замораживает самого Бранда.

Так и остается неясным: кому и для чего нужны все эти усилия, жертвы и подвиги. Ясно только одно: Бранд был максималистом; и именно это привлекает к нему русскую интеллигенцию, которая находит в нем родственную себе черту. Он никогда не довольствовался относительным, а предъявлял к жизни максимальные требования: абсолютное совершенство или смерть: «Или все, или ничего».

Бессодержательность этого максимализма не смущает русских почитателей ибсеновского героя. Бранд в своем отношении к жизни был радикален, непримирим; он презирал все относительные, условные ее ценности, и этого с нас довольно.

Эти качества пленяют нас сами по себе, и лишь немногие из нас спрашивают, во имя чего следует быть радикальным и непримиримым.

«Или все, или ничего» — вот лозунг, который мы слышим уже восемь с лишком лет, с начала освободительного движения, с той самой поры, когда студенчество выступило в роли его авангарда. И конец этого лозунга, его практический результат — всегда один и тот же — ничего: у Бранда — снежная лавина, погребаящая вместе с ним

все его надежды, а у нас — разбитое корыто, единственно верный спутник наших освободительных начинаний.

И, странное дело, этот конец у нас мало кого смущает. В Бранде русская интеллигенция находит себе не осуждение, а оправдание: да, он терзал других и самого себя, ища добро, сеял зло, других губил и сам погиб. Но он до конца жизни остался верен своей формуле, ни в чем не поступился своим радикализмом. Итак, будем продолжать в том же духе.

Что из этого выйдет на практике, не все ли равно: мы не примирились, мы сохранили чистоту нашей формулы; а для нас она безотносительно дорога, независимо от ее практического результата.

Сколько надежд уже разбил у нас этот прямолинейный максимализм и сколько терзаний причинил он русскому народу! Еще при Александре II Россия рисковала получить первые зародыши представительных учреждений. Пусть это было малое зерно; из него могло вырасти дерево. Но Александр II был убит в самый день подписания им этой хартии; стараниями тогдашних максималистов у нас надолго воцарилось царство беспросветной реакции.

Убийство царя-освободителя — одно из самых характерных для русской революции деяний. У нас самая реакция вызывает меньше раздражения, нежели половинчатые уступки со стороны правительства. Александр II вызвал против себя море озлобления и ненависти со стороны русского радикализма именно тем, что он вступил на путь уступок.

Реакция отказывает освободительному движению решительно во всем: не давая ему ничего, она не противоречит второму термину брандовской дилеммы и никому не мешает требовать всего.

Напротив, уступки, умеренные, либеральные преобразования не укладываются в дилемму, нарушают священную формулу, а потому приводят в ярость. «Ни все, ни ничего, а кое-что» — этого русский радикал перенести не может; на это он скорее всего ответит взрывом ненависти, а то и взрывом в ином, буквальном значении этого слова.

Черта эта сказывается и в большом, и в малом. Как ярко, например, она проявилась в истории наших студенческих движений! Учащаяся молодежь всегда довольно благодушно относилась к покойному Деянову, уничтожившему университетскую автономию. С тех пор у нас было много министров народного просвещения.

И на моей памяти ни один, даже покойный Н.П. Боголепов, при котором студенты отдавались в солдаты, не вызвал такого озлобления, как П.С. Ванновский, первый вступивший на путь уступок и реформ. Киевское студенчество сожгло на площади не временные правила Боголепова об отдаче студентов в солдаты, а временные правила Ванновского, дававшие студенчеству некоторые корпоративные права. Тут же мне пришлось высказать мысль, к сожалению, оказавшуюся весьма близкою к истине, что так же когда-нибудь будет сожжена на площади первая русская конституция.

Впоследствии точно так же всякий намек на возможность университетской реформы вызывал обострение студенческих волнений. И всякий раз мне приходилось слышать от моих радикальных слушателей такое объяснение: «Реформа нам не желательна, потому что она может, удовлетворить и успокоить серую, буржуазную массу студенчества: это подрежет нам крылья. В наших интересах — накапливать недовольство».

Впоследствии, уже в конституционную эпоху, мне приходилось слышать, также из уст радикальной молодежи, такое мнение об умеренных аграрных проектах: «Сытость крестьянина — не в наших интересах, ибо она порождает довольство и успокаивает!» Вспомним печальную судьбу манифеста 17 октября. Разве он не был сигналом к общему взрыву! Сколько бед наделал России один страх радикальной интеллигенции, что он удовлетворит и успокоит!

И так же относился русский радикализм ко всем относительным, промежуточным освободительным ценностям: он видел в них только задержки на своем пути, препятствия к осуществлению своих безусловных требований. Он не хотел слышать о народном представительстве, не соответствующем четырехчленной формуле, не принимал народовластия иначе как в форме республики, неограниченного народного самодержавия. Для него — лучше никакой конституции, чем конституция буржуазная, лучше монархическое самодержавие, нежели конституционная монархия; или «вся земля всему народу», или никаких улучшений крестьянского быта.

Русский радикализм отрицает не только все исторически действительное, но и все исторически осуществимое. Поэтому его максимализм на практике проявляется как нигилизм, дикая, ничем не сдержанная и ни перед чем не останавливающаяся страсть к

разрушению. Из формулы «или все, или ничего» ему в действительности удастся добиться осуществления только второго термина — «ничего». Понятно, почему с этой формулой обыкновенно связывается другая, ей сродная и столь же нигилистическая — «чем хуже, тем лучше».

Здесь кроется роковая причина всех пережитых нами неудач и крушений. Необходимость уступок и реформ в целях умиротворения — вот тот единственный аргумент в устах умеренной оппозиции, который от времени до времени влиял на правительство. Теперь, стараниями русского радикализма, у него отнята убедительная сила. Доказано неопровержимо, что с непримиримыми нет и не может быть примирения, что уступки не приводят к успокоению, а, наоборот, вызывают новый подъем революционной волны. Когда правительство убедилось в малочисленности тех слоев населения, которые дорожат уступками уже сделанными, оно начало брать их назад. Пока могло казаться, что революция дает кое-что, радикалы выходили из себя. Теперь, когда стало вероятным, что она не дает ничего, их негодование утратило силу. Зачем им волноваться: они спасли свою формулу!

## II

Слово «максимализм» вызывает в нашем сознании два противоположных, трудно согласимых ряда представлений. С одной стороны, «максималист» — это крайний идеалист, который не идет ни на какие компромиссы, требует немедленного осуществления идеала во всей его полноте, не соглашаясь не только на ограничения, но даже и на отсрочки.

С другой стороны, ставшая привычной ассоциация идей связывает с тем же словом представление об экспроприаторе, который кричит «руки вверх» и грабит — не то для революционных целей, не то в собственную пользу. Это — что-то среднее между революционером и простым мазуриком.

Это сочетание противоположностей, объединенных общим названием, не есть результат словесного недоразумения. Жизнь действительно знает эти совмещения и эти переходы от крайнего идеализма к крайней преступности — до полной утраты человеческого облика. И несомненно, русский радикализм включает в себе частью элементы, частью же зародыши как того, так и другого.

Классическим типом идеалиста-преступника является Раскольников Достоевского. Все черты русского максималиста, как в широком, так и в тесном значении этого слова, в нем налицо. Это — мечтатель, который во имя своей социальной утопии совершает двойное убийство и экспроприацию. Двойное убийство! Гений Достоевского провидел даже и эту черту — убийство ни в чем не повинной Елизаветы, случайную жертву, которая гибнет от удара, направленного против другого лица, гибнет только оттого, что максималист встречает ее на своем пути.

И тот же Достоевский вскрывает логические основания перехода от утопии к преступлению. «Я — обладатель той единой спасающей формулы, которая должна облагодетельствовать человечество: ergo мне все дозволено, я все могу преступить». Тут — безграничная вера двоякого свойства: в непогрешимость, святость формулы и в самого себя как ее носителя,

Такова же и теперь экспроприаторская психология и логика, с одной, впрочем, разницей. Индивидуалист Раскольников верит самому себе, своей формуле, своему личному гению, знанию и умению. Он действует за свой риск и страх, от собственного имени. Нынешний же измельчавший, стадный максимализм верит в непогрешимость партий и партийных лозунгов.

Но сущность одна и та же. Найдена абсолютная истина, формула, которой ее обладатель поклоняется как божеству, как идолу. Человеческий закон воспрещает кровавые жертвы, но божество их требует. Ergo — человеческий закон должен быть нарушен.

### III

Уже давно замечено, что фанатизм русской радикальной интеллигенции тесно связан с ее бессознательной религиозностью. Всякую социальную утопию она принимает как религиозный догмат, как откровение, коего каждая буква священна. Вся русская революционная партия имеет тенденцию превратиться в секту, которая мнит себя единой спасающей церковью, а потому ненавидит все прочие секты как еретические. У всякой свое евангелие — от Маркса или от кого-либо другого, свои революционные святцы, мученики и праздники, когда полагается воздерживаться от труда и предаваться неделанию. И всем им свойственно присущее религиозным сектам стремление к дроблению. Самые крайние партии кажутся части их

сторонников недостаточно крайними, оппортунистичными. И в поисках за абсолютным радикализмом рождаются новые партийные образования: большевики среди социал-демократов, максималисты в тесном смысле слова среди социал-революционеров. Все они говорят не от себя, а как бы «от Бога», в каждом революционере сидит непогрешимый папа, все мыслят свой социальный идеал не иначе как в форме безусловного.

Максимализм в широком смысле — их общая родовая черта. И источник его — всегда один и тот же. В существе своем максимализм — не более и не менее как извращение одной из наиболее привлекательных и ценных сторон русского характера. Это — одна из многих aberrаций нашего религиозного сознания, сбившееся с пути религиозное искание.

Неудовлетворенность всем вообще существующим, неспособность к компромиссам, непримиримость, склонность к повышенным, максимальным требованиям — все это частные проявления той жажды безусловной, совершенной правды, которая живет не только в нашем интеллигенте, но и в простом народе.

С этой особенностью связана и наша сила и слабость, все то, что есть в нашем национальном характере благородного и отвратительного. Здесь — залог высокого подъема духа, великих подвигов и творчества; но здесь же таится возможность крайнего падения. Извращение лучшего из человеческих качеств становится источником худшего из зол. Сбившееся с пути религиозное искание обращается на недостойные предметы и создает себе идолов. А идола обыкновенно бывают ревнивы, завистливы, бесчеловечны и кровожадны.

Русская действительность полна печальными тому доказательствами. Русский интеллигент жить не может без идолов и делает их изо всего на свете: из народа, из партии, из формулы, из учения, в котором он видит «последнее слово науки». И все человеческое забывается и утрачивается в этом идолослужении. Это — то самое, что создает преступную атмосферу. Становясь предметом исключительного почитания, идол вместе с тем становится единственным критерием нравственных обязанностей. От всяких других он освобождает своих поклонников: одни считают все дозволенным в интересах народа, другие — в интересах единой

спасающей партии, третьи — ради торжества единственно непогрешимого догмата. Этот догматизм — смерть духовной жизни, ибо он усыпляет разум и освобождает от труда искания. Кто мнит себя в обладании безусловной правдой, тот уже не ищет, не подвергает критике своих догматов, а навязывает их другим, насилуя и принуждая к молчанию несогласных. С верою в собственную непогрешимость связывается крайнее самодовольство, самомнение и деспотизм, опьянение и бред величия, свойственный «монополистам» истины.

Идол требует от своего поклонника высшей жертвы: он пожирает его самого, убивает в нем человеческое чувство, уничтожает всякую общественность. Он создает, с одной стороны, преступные типы, анархистов, которые ведут истребительную войну против всякого несоответствующего их формулам общества, а с другой стороны — рассудочные машины, доктринеров, неспособных к какому-либо живому практическому делу.

Максимализм и доктринерство грозят остановить у нас всякую общественную жизнь: нельзя учиться в школе, потому что мы не имеем «истинно демократической школы»; нельзя законодательствовать в парламенте, потому что мы не имеем «истинно народного представительства». Нельзя терпеть какую бы то ни было власть, пока власть не перейдет в руки народа. Нельзя давать заниматься земледелием, пока вся земля не перейдет в руки всего народа; нельзя давать работать фабрикам, пока мы не добьемся восьмичасового рабочего дня. Нельзя давать жить, пока не восторжествуют в полном объеме наши священные формулы. Что из того, что этим мы ввергаем народ в нищету, уничтожаем всякую безопасность, продолжаем до бесконечности безнадежную партизанскую войну и создаем силу реакции. Наша цель — не человек, не его благоденствие и счастье, а формула, которая для нас — то же, что Иегова для ветхозаветных иудеев: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут ти бози иные, разве Мене» ([Исх. 20:2-3](#)). Итак, будем поить наших идолов кровью.

По отношению к безусловной правде максимализм уместен: она действительно требует от человека, чтобы он отдавался ей всем сердцем, всем своим существом. Это выражено в евангельской притче о купце, — который ради драгоценной жемчужины жертвует всем своим достоянием, и в известном тексте: «Кто не оставит отца и

*мать свою ради Меня, несть Меня достоин»* (ср. [Мф. 10:37-38](#)). Тут действительно нет места для компромисса. Безусловному человек должен принести себя в жертву всецело и без остатка.

Но беда наша в том, что мы почитаем как безусловное те временные ценности политического рынка, коим сегодня цена одна, а завтра другая. Мы отдаем себя в совершенную жертву изменчивым, преходящим требованиям политическим и социальным и этим подрываем свою творческую силу: мы не в состоянии создать ничего прочного, непреходящего.

По назначению своему наша интеллигенция — соль земли русской. Но догматизм и идолослужение сделали ее солью, потерявшей силу. Неудивительно, что жизнь прошла мимо нее и разбила ее идолов. И мы не должны этому печалиться, ибо, во-первых, гибель богов — уже сама по себе — некоторая победа истины. А во-вторых, крушение кумиров освобождает душу от плена, делает ум открытым для искания и подготавливает новый подъем — в сферу действительно Безусловного.

## Буран

*Это ты, о, дорогая,  
Ничего, не трусь,  
Несуразная, кривая,  
Но святая Русь!*

За последние дни газеты были полны сообщениями о снежном буране, свирепствовавшем во всей России. С севера и юга, с востока и запада приходили известия о полном или частичном прекращении железнодорожного движения. Газеты сообщали, что «успешности расчистки путей препятствует продолжающаяся сильная метель при необычайно больших морозах». Этими словами резюмируется и все прочее, что за последнее время приходилось читать в газетах.

Метель бессмысленна и стихийна; до наших путей сообщения и до человеческих интересов ей нет никакого дела. Ей решительно все равно, что засыпать и кого заморозить; она не делает разницы между железнодорожным полотном и никому не нужным оврагом, между человеком и навозной кучей.

Она преследует одну общую задачу — выпрямления действительности; поэтому, не углубляясь в детали и не входя в оценку индивидуальных явлений, она действует исключительно простыми, однообразными, но весьма решительными общими мерами: она заполняет все рвы и ямы, заносит все возвышенности, все приводит к плоскости и все окрашивает в однообразно белую краску.

Оглянемся кругом, и мы увидим, что за последнее время все вообще «мероприятия» окрашены этой истинно русской мудростью метели. Еще так недавно наша политическая карта представляла пестрый и изрезанный ландшафт; общественная жизнь казалась сложной и разнообразной. Теперь метель навела простоту и «порядок»: мало-помалу начинают исчезать все очертания; скоро вся Россия вытянется в одну прямую поверхность.

Крайние партии уже давно скрылись под сугробами; самые следы их заметены. Начинает покрываться белым саваном и партия народной свободы. Недаром бывший «Вестник Партии Народной Свободы» теперь просто называется «Вестником Народной Свободы». В скором

времени из периодической печати может исчезнуть самое имя партии; после выборгского процесса ее лучшие кандидаты надолго скрылись под снегом.

Пока еще цела партия мирного обновления; но метель не ослабевает, угрожая и ей той же участью. Напрасны ссылки на ее исключительно мирную, культурную работу. Для метели не существует никаких оправданий; мы уже видели, что она относится с особым ожесточением именно к «расчистке путей сообщения». На днях «Россия» дала понять, что так называемая «культурная работа» есть разновидность «крамолы"... Ясно, что, подобно всем прочим возвышенностям... она должна быть заметена.

Вместе с партиями мало-помалу исчезают и профессиональные союзы. Остаются на сцене и сохраняют возможность действовать только те общественные организации, которые сами окрашиваются белым цветом, сливаются с плоскостью и подвывают метели.

«Неслыханно жестокие морозы заставляют трещать самые государственные учреждения. И они вскоре будут завалены снегом, так что трудно будет распознать: где сенат, где синод, где высшая школа и где... департамент полиции.

Дни высшей школы сочтены. Уже появился разъяснительный циркуляр, в силу которого высшим учебным заведениям остается или отказаться от автономии, или... обзаводиться агентурой. Еще не вырыта та яма, где должны быть погребены университеты; но носят зловещие слухи, что при каждом университете будет учреждена особая должность истребителя автономии: ему будет присвоено звание «канцлера университета». Что будет дальше с университетом, покрыто мраком неизвестности: пока что унесены снежным вихрем и скрылись во мраке министр народного просвещения и его товарищ.

Еще недавно правительствующий сенат считался вершиной наших судебных учреждений. В качестве такового он при старом порядке пользовался известным авторитетом. В те дни каждое министерство, каждое ведомство составляло как бы особую, самостоятельную державу. Благодаря этому сенат, зависевший разве только от министра юстиции, мог проявлять известную самостоятельность по отношению к другим министрам, и в частности — по отношению к министру внутренних дел.

Теперь — не то: метель, которая стремится занести все вершины, понятное дело, не могла пощадить и вершины юстиции. У нее есть на то могущественное средство: теперь, благодаря единству совета министров, каждый из министров становится начальником каждому из сенаторов. В результате из органа юстиции сенат стал «органом внутренней политики» со специальной миссией — уничтожать законы путем разъяснений. На днях в газетах появилось известие, что именно ввиду этой миссии министерство юстиции признало несвоевременной реформу сената.

Внутренняя политика стремится сровнять с землей не только юстицию, но и самую церковь, святейший синод стал преимущественно органом надзора за политической благонадежностью духовенства, духовным «департаментом полиции».

Еще не вся Россия превращена в равнину; кое-где глаз еще различает уцелевшие возвышенности. Движение жизни не повсеместно остановлено. Метель еще не все засыпала и не все заморозила. Но громадность задачи требует известной постепенности в ее осуществлении; было бы только постоянство при неослабевающей энергии, и цель будет достигнута. То и другое, несомненно, есть налицо. Говоря словами «России» «правительство не только признает необходимость огромного и упорного труда по плану, им разработанному и осуществляемому, но и действует в этом направлении, не теряя времени».

Нет спора, «в этом направлении» сделано уже очень много. От вьюги на дворе теперь так темно, что стало трудно не только распознавать очертания различных государственных учреждений, но даже и различать своих от чужих. Члены «Союза русского народа» начинают истреблять друг друга. Пуришкевич наступил на ногу Дубровину; Дубровин-сын вызвал на дуэль Пуришкевича; и даже сам Меншиков в темноте принял П.А. Столыпина за кадета.

Конец освободительной эпохи выражается словами народной песни:

Эй, Настасья, эй, Настасья, отворяй-ка ворота!

Я ворота отворила, да метелью занесло.

К скачкам и безобразиям русского климата мы привыкли. Метель после октябрьских дней не представляет для нас чего-либо необычного

и нового. Мы знаем, что летняя жара когда-нибудь должна смениться зимней стужей, а зимняя стужа — опять летней жарой.

Ввиду неизбежности этой периодической смены времен года метель сама по себе пугать нас не должна. Мы знаем, что ей положены определенные времена и сроки и что бесконечно долго она продолжаться не может.

Есть, однако, что-то страшное в особенностях именно этой зимы. Старожилы не запомнят ни такого упорства непрекращающихся морозов, ни такой невероятной глубины сугробов. Невольно возникает тревожный вопрос: какова-то будет весна?

Мы знаем, что сила весенних вод прямо пропорциональна количеству накопившегося за зиму снега. Вот это обстоятельство и заставляет страшиться за будущее.

Как бы весенний разлив не превратился в наводнение, что в низменной местности особенно опасно. Потекут потоки мутные, бурные, грязные и будут все сносить: людей, животных, деревья и дома. Они так же мало разбирают, как и метель; им присуща та же тенденция к выпрямлению действительности и та же ненависть против возвышенностей.

Зимой метель все засыпает, а весной воды все заливают!

Бедная Россия! Весною, как и зимою, ей всегда суждено быть жертвой бессмысленной стихии и терять свой путь. Зимою беспутица, а весной — распутица! Ей нет спасения, пока не будет прорван этот заколдованный круг!

Когда-нибудь он будет прорван. В конце концов, аналогия между внешней стихией и миром человеческим имеет свой предел. Стихийные тенденции нашей общественной жизни не суть непреодолимые естественные законы. Против них можно и должно бороться. От метелей люди спасаются в теплых хатах; против наводнений, когда их заблаговременно предвидят, устраиваются плотины. И даже от потопа, как известно, Ной однажды спасся в ковчеге.

В конце концов, каждая человеческая единица представляет собою ту каплю, которая может увеличить или не увеличить собою тот или другой поток. Когда мы выработаем в себе ту человеческую силу, которая будет в состоянии противиться стихийным порывам, тогда нам нечего будет страшиться метели и наводнения.

В этом нет ничего невозможного. Власть стихийного начала в нашей общественной жизни обуславливается слабостью развития у нас личности. Безумие нашей революции, как и безумие нашей реакции, обуславливается, главным образом, одной общей причиной — тем, что у нас личность еще недостаточно выделилась из бесформенной народной массы. Этим обуславливаются внезапные резкие переходы от полной неподвижности и косности к стихийному бунтарству, от наивной покорности к столь же наивному революционному утопизму.

От этого зла есть только одно спасение — развитие сознательной личности. Болезнь, переживаемая Россией, есть болезнь ее возраста: в этом — единственное наше утешение. Против этой болезни есть, к счастью, спасительный рецепт — народная школа; он действует медленно, но зато верно.

В развитии народной школы заключается основная задача времени. Когда она будет поставлена на должную высоту, мы увидим, что самый наш климат — в значительной степени в нашей власти. К этой цели должны быть направлены все наши усилия.

## Гоголь и Россия

В «Переписке с друзьями» Гоголя есть замечательные слова, которые проникают в самую глубь наших современных дум.

«Вот уже почти полтора года лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудия для дела. И до сих пор остаются так же пустынно, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашей крышею, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге; и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный почтовый смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей».

Когда читаешь эти слова, кажется, точно они написаны вчера: до того они полны современного значения. Все так же теперь мы в России словно чужие, все так же ищем и не находим родину. Все так же давит нас беспредельное пространство, не одухотворенное нашей культурной работой. По-прежнему тоскливо чувство неисполненного долга перед родной землей; бессильно движение вперед и безнадежно холоден ответ смотрителя: «Нет лошадей».

Не те или другие преходящие черты эпохи, а сверхвременная сущность нашего народного характера выразилась в произведениях Гоголя; поэтому в них до сих пор мы можем читать печальную повесть не только о нашем прошлом, но и о настоящем России. В них все полно неумирающего значения.

Что же поведал нам Гоголь о России? Прежде всего она для него — синоним чего-то необъятного, беспредельного, «неизмеримая русская земля». Но беспредельное — не содержание, а форма национального существования. Чтобы найти Россию, надо преодолеть пространство, наполнить творческой деятельностью ее безграничный простор. В поэзии Гоголя мы находим человека в борьбе с пространством. В этом — основная ее стихия, глубоко национальный ее источник.

С этим связаны у Гоголя все его радости и печали. Беспредельное, когда оно является нам во образе пустыни, гнетет и давит, ибо оно вызывает тоску по содержанию, которое бы его наполнило. Но в этом же созерцании беспредельного есть неиссякающий источник подъема и воодушевления, потому что оно открывает безграничный простор для жизни, движения и подвигов.

Безграничная тоска и беспредельное воодушевление — вот те противоположные настроения, которые, в связи с созерцанием русской равнины, окрашивают лирику Гоголя. Гоголь признает, что это — те самые черты, которые составляют своеобразную особенность русской песни.

Особенность эта выражается в том, что русская народная песнь не знает пределов ни в тоске, ни в разгуле. «В русской песне, — говорит Гоголь, — мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению унести куда-то вместе со звуками». — «Еще доселе загадка, — читаем мы в другом месте, — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куда-то мимо жизни и самой песни, как бы сгорая желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания человек».

С этими особенностями русской песни тесно связана другая черта народного характера, которая также отражается в жизни и в творчестве Гоголя. Я говорю о склонности к странствованиям. В той бесконечной равнине, среди которой протекает наша жизнь, ничто не приковывает к себе человека. Благодаря самому однообразию окружающей природы он не чувствует себя прикрепленным к какому-либо определенному месту. Отсюда, в связи с бедностью жизни, необыкновенная подвижность русского человека: чем меньше удовлетворяет его окружающая действительность, тем сильнее в нем влечение к беспредельному, тем больше манит его дальняя дорога.

Отсюда у нас — народный тип странника, с которым так часто сочетается тип богоискателя. Сочетание это вполне естественно. Странствования нашего народа связываются с исканием лучшей отчизны, во-первых, потому, что они чаще всего вызываются тоской, страданием, горем народным — словом, разочарованием в отчизне здешней. Во-вторых, влечение к беспредельному, хотя оно и возбуждается созерцанием бесконечного пространства, однако не

находит себе удовлетворения в мире земном, где человек ежеминутно натывается на положенные ему тесные границы. Неудивительно поэтому, что среди русского простонародья странник считается божьим человеком, причем самое хождение по земле признается делом спасительным, богоугодным.

В жизни и деятельности Гоголя мы находим эти самые черты народного типа. Он — по существу писатель-странник и богоискатель. Почти вся его литературная деятельность протекла среди непрерывных странствований; и эти странствования теснейшим образом связаны с самой сущностью его творчества, с основным делом его жизни, которое для него было делом, по существу, религиозным. Он странствовал, во-первых, потому, что всем существом своим испытывал тоску о России здешней, действительной, исторической, и, во-вторых, потому, что всем сердцем жаждал «Руси святой», соответствующей его религиозному идеалу.

Эти странствования были для него одновременно исканием Бога и исканием России. В «Переписке с друзьями» он объясняет, что то и другое — для него — одно и то же. Любовь к Богу без любви к человеку мертва: «Как полюбить Того, Кого никто не видал?» — «Не полюбивши России, не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу». С этим Гоголь связывает мысль о паломничестве по России; нужно «проездиться по России», чтобы ее полюбить, узнать и деятельно послужить ей. Напрасно было бы думать, что такой взгляд на религиозное значение путешествий возник у Гоголя в эпоху «Переписки с друзьями». С мыслью о его религиозном служении для него связывались все его странствования уже в конце двадцатых и в тридцатых годах. Уже в 1829 году он пишет матери, что Бог указал ему путь в землю чужую. Также в 1836 году он объясняет свое заграничное путешествие предначертанием свыше. В письмах своих он вообще упоминает о своих странствованиях рядом с «уединением», «отлучением от мира», самоуглублением, молитвами (Овсяннико-Куликовский, «Гоголь», стр. 210).

Чтобы написать «Мертвые души», Гоголю нужно было сесть в бричку вместе с Чичиковым; уже это одно достаточно освещает необходимую связь между творчеством Гоголя и его странствованиями

по России. Но какое значение могли иметь для этого, по существу, национального писателя его заграничные путешествия?

Тут открывается перед нами самая парадоксальная и вместе чрезвычайно интересная черта деятельности Гоголя: искание России составляло цель его жизни, всю задачу его творчества. Но найти Россию он мог только за границей.

В известном лирическом месте 1 тома «Мертвых душ» он говорит: «Русь, Русь, вижу тебя; из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу». Чтобы увидеть Россию, Гоголь должен был отъехать от нее на расстояние: вблизи мелочные подробности будничной жизни заполняют собою все поле зрения и мешают рассмотреть целое. Они давят на душу и задерживают ее полет. Гоголь вряд ли мог бы вынести созерцание этой серой, неприглядной России, если бы темно-синее небо Италии не бодрило его надеждой на миры иные. Неудивительно, что впоследствии, в «Авторской исповеди», Гоголь жалуется, что среди России он почти не увидел России. «Разъездами по государству много не возьмешь: останутся в голове только трактиры да станции». Из расспросов также много не узнаешь, ибо тут действительная Россия заслоняется множеством разнообразных и противоречивых о ней мнений. «Словом, — говорит Гоголь, — во все пребывание мое в России, Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое; дух мой упал, и самое желание знать ее ослабевало. Но, как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой».

Замечательно, что образ России как целого для Гоголя не отделялся от странствования, дороги. Известно, что она явилась ему во образе бешено скачущей тройки, которая «мчится, вся вдохновенная Богом». Он видел ее в общем порыве, в общем движении. Движение и есть то, что объединяет Русь в одно целое.

В этом образе обращает на себя внимание его незаконченность. Гоголь ясно видел, как и откуда скачет тройка; но он не отдавал себе отчета, куда она несется. С этим связано то роковое противоречие лирических мест первого тома «Мертвых душ», в котором выражается вся безысходная драма последующего периода литературной деятельности Гоголя. С одной стороны, художник чувствует, что «все в России обратило на него полные ожидания очи». Родина жаждет узнать от него разгадку смысла своего существования: она ждет от

него откровения нового жизненного пути. Но вместо ответа у него у самого вопрос шевелится на устах: «Русь, куда же несешься ты! Дай ответ! Не дает ответа!»

Ясно, что основная задача остается здесь неразрешенною. Сказать, что национальное существование есть быстрое движение, странствование, скачка, — значит ничего не сказать, ибо сущность движения народа, значение этой вековой борьбы его с пространством определяется ее целью. Вместо ответа на вопрос о цели Гоголь дает только изображение самого стремления к ней.

Мы хорошо знаем отношение этого движения к прошедшему русской жизни, от которого удаляется наша тройка. Позади остаются пустынные пространства и ничтожные люди — Маниловы, Плюшкины, Собакевичи, Коробочки. Изо всего этого нам ничего не жаль; и мы с радостью повторяем за Гоголем: «Черт побери все». Но настроение наше в корне меняется, когда мы задумываемся о том, что ждет нас впереди. Точно ли эта скачка в неизвестное должна освободить нас от гнетущих впечатлений? Не суждено ли нам впоследствии бесконечное число раз встречать в дороге все те же безобразия и наткаться на тех же знакомых нам чудовищ?

Неудивительно, что этот вопрос оказался роковым для Гоголя: чтобы творить, ему надо было ясно видеть путь свой перед собой и знать, куда ведет он своего читателя. В молодости он, по собственному признанию, творил беззаботно и безотчетно: когда его давила грусть, он освобождался от нее смехом. Но с годами это соловьиное пение стало для него невозможным: под влиянием Пушкина он взглянул на дело серьезнее и относительно каждого своего произведения стал ставить вопросы: «зачем» и «для чего»; он понял, что раньше он смеялся даром. Ему стало ясно, что не себя самого надо освобождать смехом от печали: надо делать им живое общественное дело — освобождать Россию от чудовищ, изгонять из нее бесов. Ибо смех — могущественное орудие борьбы: «насмешки боится даже тот, кто больше ничего на свете не боится».

В «Ревизоре» наш автор задался задачей «собрать в одну кучу» все дурное, что только есть в России, — все неправды, которые там творятся, чтобы одним разом посмеяться надо всем. Но на том пути, который избрал Гоголь, нельзя было ограничиться одной этой отрицательной задачей «очистки мусора». Надо было разрешить

задачу положительную — найти путь правды. Вот почему после «Ревизора» он почувствовал потребность в сочинении более полном, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Вся Россия должна была предстать здесь во всей полноте своих определений — тех высших ее свойств, которые должно ценить, и тех низших, которые заслуживают осуждения.

Так ставилась задача «Мертвых душ»; но первоначально Гоголь приступил к работе без обстоятельно продуманного плана. «Я думал просто, — говорит он, — что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными». Иначе говоря, Гоголь поступил, как те странники из народа, которые, пускаясь в дорогу, слепо верят, что она сама приведет их в обитель, где правда живет. Но осквернены все земные обители. И без конца будет продолжаться странствование от монастыря к монастырю, пока странник не поймет, что искомой им обители на земле нет вовсе, что она еще только должна быть выстроена.

Это самое и случилось с Гоголем. Вместо «святых мест», коих он искал, бричка Чичикова заезжала в одни только «опозоренные святыни и места». Вместо «живых душ» попадались по дороге только «мертвые». Обманула его дальняя дорога, и тревога наполнила душу художника: он стал себя спрашивать: «Зачем? к чему это? Что должен сказать такой-то характер? Что должно выразить такое-то явление?»

Прав или не прав был Гоголь в такой постановке задачи? Мог ли он продолжать творить без ясно сознанной цели и без плана? Так творил впоследствии Чехов, который воспроизвел также без определенного плана великое множество хмурых, бессодержательных и ничтожных человеческих типов. Но тут-то и сказывается различие между талантом и гением. В отличие от Чехова, Гоголю было недостаточно копировать жизнь: ему нужно было вскрывать ее смысл и двигать ее вперед. Он требовал, чтобы в каждом его создании жизнь сделала новый шаг, и потому не повторялся. Чехов довольствовался изображением эфемерных созданий, которые рождаются, прозябают и исчезают, как мыльные пузыри, не оставляя заметного следа на земле. Напротив, Гоголь, как он сам говорит о себе, — хотел творить существенное; своим искусством он желал принести осязательную

пользу себе и другим: оно связывалось у него «с делом души», с «прочным делом жизни». Поэтому он не считал себя вправе возвращать жизни людей такими, какими он их взял. И в этом его взгляд на искусство — неизмеримо глубже чеховского.

Что же помешало Гоголю в исполнении задачи, столь ясно поставленной и столь глубоко осознанной? Почему не удалось ему сознательное искусство? Иные критики объясняют это падение таланта Гоголя «религиозностью» его последнего периода. Однако новейшие исследования неопровержимо доказали, что эта религиозность была изначальным свойством его душевного склада: религиозное искание было вообще основным мотивом его творчества; и из биографии его не видно, чтобы его религиозные воззрения менялись. Странности последних произведений нашего писателя нисколько не коренятся в его религиозности; напротив, они связываются с некоторыми причудливыми отступлениями от нее. «Христианство» добродетельного помещика Констанжогло не мешает ему погружаться в материальную жизнь с головы до пяток. Это — «туз-хозяин», который от своего христианства богатеет, как Крез, и обогащает своих мужиков. Не менее странная фигура — откупщик Муразов, который наживает миллионы на народном пьянстве и проповедывает Чичикову покаяние.

Но всего поразительнее здесь односторонность взгляда на религиозный идеал; в «Переписке» он понимается исключительно как норма для индивидуальной, личной жизни; к жизни общественной Гоголь не предъявляет никаких требований. Он мирится с существующим строем до крепостного права включительно и ждет спасения общества от личных добродетелей помещиков, чиновников, и в особенности генерал-губернаторов.

Словом, Гоголь не знает христианства как живого общественного дела. И в этом нельзя не видеть победы старой Руси над художником. Для изображения правды в общественных отношениях тогдашняя государственная и общественная жизнь России просто-напросто не давала ему образов. Он мог наблюдать сколько угодно частных добродетелей; но он не мог изображать ни общественного дела, ни общественных деятелей, потому что ничего подобного в России в то время не было.

Отсюда — бьющее в глаза противоречие деятельности Гоголя последнего периода; с одной стороны, он раскрыл в своих произведениях ужасающее общественное зло; с другой стороны, от этого зла у него спасают не общественные силы, а изолированные лица. В этом, а вовсе не в религиозности Гоголя заключается фальшь всех его добродетельных чиновничьих и помещичьих типов; неудивительно, что среди крепостного права их бледная, бескровная праведность оторвана от жизни. Гоголь очутился перед заметенной снегом станцией и услышал известный нам окрик зрителя вовсе не потому, что он руководствовался своим религиозным идеалом, а, наоборот, потому, что он отступил от него — попытался совместить его с чудовищными, антихристианскими порядками дореформенной России.

Необходимым условием воплощения правды в общественных отношениях является всеобщее раскрепощение, осуществление частной и общественной свободы; крупная ошибка Гоголя заключалась в том, что он этого не понимал.

Но еще ошибочнее распространенное в наше время мнение, которое, наоборот, ждет спасения общества исключительно от внешних преобразований. Именно это заблуждение составляет главное препятствие к разрешению поставленного нами вопроса — почему Россия до сих пор не вышла из того тупика, на который наткнулся Гоголь.

Со дня смерти Гоголя прошло более полувека; с тех пор мы избавились от крепостного права и получили зачатки конституционных учреждений. Три года тому назад, казалось, от России зависело стать совсем свободной и осуществить всякую, даже самую дерзновенную мечту. Немало было в то время порывов высокого идеализма. Лучшая часть русского общества жаждала правды. И вдруг все рухнуло.

Опять мы видим Россию во власти темных сил. Сенаторские ревизии последнего времени обнажили ужасы не меньше тех, что были в сороковых годах. «Мертвые души» все еще не пережиты нами: в новых формах нашей жизни таится старая гоголевская сущность.

Чем же обуславливается столь печальный исход нашей борьбы за достойные человека условия существования? Объяснения мы найдем опять-таки у Гоголя, который, помимо способности наблюдать

настоящее, обладал несомненным даром провидеть будущее. Среди полного затишья сороковых годов он видел бешеную скачку русской тройки. Ничего подобного в то время не происходило, и, конечно, тогда Россия никого не обгоняла. Тут Гоголь, очевидно, не наблюдал, а предвидел, ибо чуял народный характер. Живая душа писателя почувствовала в себе крылья, которые уносили ее от мертвых душ; он верил, что эти крылья рано или поздно вырастут у России.

В 1905 году пророчество как будто бы сбылось. Тогда действительно тройка закусила удила, подхватила экипаж, сбивала с ног прохожих и наводила ужас на соседей своим молниеносным движением. До сих пор с подлинным верно; и только окончание внесло в гоголевский текст кое-какие дополнения.

Верные национальному инстинкту, кони мчались без возницы, не зная ни дисциплины, ни удержа. Не чувствуя вожжей, освободившись от всякого управления, они подчинялись только стихийному стремлению к безграничному простору и к дикой воле. Но недолговечен был порыв и скоро сменился общим утомлением. Беспорядочная скачка кого потоптала, кого устрашила. Тут, к великой радости испуганных обывателей, тройку поймала твердая, но грубая рука. С тех пор она покорно возит казенную корреспонденцию. А обывателям скорая езда воспрещена надолго.

Отчего это случилось? Во-первых, от той экстенсивности национального характера, которая воспиталась в борьбе с пространством, от нашей ненависти ко всему, что носит на себе печаль какого-либо предела, от нашей неспособности в чем-либо себя обуздать и ограничить. Мы захотели одним взмахом перелететь безграничное пространство; когда это не удалось, у нас разом опустились руки. Русскому нужно или все, или ничего: все остальное, ограниченное его не интересует.

Другая причина неудачи в том, что движению недоставало то самое, что могло сделать его прочным и долговечным. В нем было недостаточно той веры в Россию, которая вдохновляет на подвиги; зато в нем было много той ненависти, которая ослепляет и затмевает его смысл. Казалось бы, все участники освободительной борьбы могли бы объединиться в общем служении России, в общем стремлении освободить ее. Но для многих из нас Россия олицетворяла собой то самое иго, от которого надлежало освободиться. Рабский образ

современной России для многих заслонял внутреннюю духовную Россию, то лучшее народное «я», которое достойно любви и веры. Но без веры невозможно горы передвигать: когда ее нет, во имя чего бороться, ради чего приносить жертвы? Вот почему так скоро иссякло наше воодушевление; вот почему мы так поспешно и постыдно пошли на полную капитуляцию.

Но обратимся к Гоголю. Другое его пророчество еще ближе к делу. Вдохновенным рассказом «Мертвых душ» про сапожника Максима Телятникова он прямо предсказал, как русский человек воспользуется своей свободой, когда он ее добудет.

«Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу. Учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник; и не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом. А как кончилось твое учение, — «А вот теперь я заведу свой домком, — сказал ты: — да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею». И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты лавчонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. Достал где-то втридешева гнилушки кожи и выиграл точно вдвое на всяком сапоге; да через недели две перелопались твои сапоги, и выбрали тебя подлеишим образом, И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться, приговаривая: «Нет, плохо на свете! Нет житья русскому человеку: все немцы мешают!»

Вот в двух словах наша печальная история. Три с лишком года тому назад дорогой ценой добыли мы себе волю: оброк платили не деньгами, а людьми. Пришло нам время обзавестись «своим домком» — и мы тотчас отвергли всякую иноземную школу; в те дни на собраниях, на митингах громче всех раздавался голос Максима Телятникова: «Мы не так, как немцы, мы вдруг разбогатеем». Но тут, как и везде, Телятников оказался двойственным типом — сочетанием радикала и плута. Как радикал, он ненавидит постепеновщину, все то, что напоминает правило «потихоньку да полегоньку», и отзывается немцем. Но вершина человеческого благополучия не достигается разом; кто хочет обойти необходимые ступени общечеловеческого прогресса, тот волей-неволей вынужден сплутовать. Телятников и тут попытался основать благополучие на грабеже и, понятное дело, перестал внушать веру; который раз разочаровалась в нем русская

публика, и лавочка его запустела. Но поздно: он всех успел скомпрометировать и всех вовлек в свое разорение. Теперь, вместо золотых гор, которые он сулил, нам недостает даже самого скромного благосостояния. Что же делает Россия? Пьет, как никогда, и жалуется, что житья нет русскому человеку от немцев. А от немцев и в самом деле приходится плохо! Сначала грозили, потом стали приказывать, и если так будет продолжаться, то скоро будут бить, пока не выучат.

Что же это значит? Являются ли немцы по отношению к нам высшей расой, превосходят ли они нас дарованиями, умственными способностями? Нет, но они ценят относительное, осуществимое и в достижении ограниченных результатов проявляют огромное упорство. Они бьют нас тем самым качеством, которым били нас японцы, которым превосходят нас едва ли не все наши соседи, — житейским умением. Народ, родивший Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого, несомненно, обладает высшими дарами гения; нас губило доселе скорее отсутствие меньших дарований.

Здесь мы приближаемся к ответу на вопрос, поставленный в начале этой беседы: почему, несмотря на огромные естественные богатства и на многовековые усилия, русский народ не сумел обеспечить себе не только благоустройства, но даже сколько-нибудь сносного существования? Тут недостатки тесно связаны с положительными качествами. Они составляют как бы обратную сторону медали. Говоря о нашей житейской беспомощности, как не вспомнить замечание Гоголя о том, что русская песнь идет мимо жизни и не обнаруживает к ней привязанности!.. Все, что было в России творчества, всегда устремлялось к безусловному, безотносительному, горному. Не потому ли немецкое терпение, немецкие заботы об относительном благополучии нам кажутся подчас столь жалкими, буржуазными филистерскими! В отношении русского человека, и в особенности русского радикала, к немцу есть много бессознательного, незаметного для нас самих высокомерия; это — та самая черта, которая была увековечена Щедриным в бессмертной беседе мальчика без штанов с мальчиком в штанах. Бесприютный и бездомный скиталец в собственной земле, русский человек втайне презирает немца именно за то, что тот обзавелся «собственным домком» — комфортом, приличием и... штанами! Для национального самомнения

даже заметенная снегом станция служит свидетельством о национальном превосходстве и даровитости.

Нужно ли доказывать, насколько такое отношение к себе и другим несправедливо в своей односторонности! Тот глубокий идеализм, который не мирится с духовным мещанством в каком то ни было виде, составляет ценное преимущество нашего народного характера. Но этот идеализм утрачивает свою жизненную силу, когда он впадает в крайность отрицания относительного: этим он лишает себя возможности проникать в нашу земную жизнь, где безусловное Добро еще не совершилось, а только совершается. Кто хочет цели, тот должен хотеть и средства; поэтому с точки зрения идеала безусловного совершенства следует приветствовать всякое приближение к добру, всякое относительное усовершенствование. Иначе самый идеализм превращается в карикатуру, становится маской для лени, удобным предлогом, чтобы ничего не делать! Если добыть себе полную свободу — не в нашей власти, то следует ли отсюда, что мы должны мириться с рабством? Если мы не в состоянии одним скачком достигнуть царства правды, то может ли это послужить оправданием той безграничной неправды, которая царит в русской земле? Если мы не в состоянии превратить Россию в Царствие Небесное, то неужели на этом основании мы должны прекратить борьбу против надвигающегося ада?

Надо раз навсегда покончить с правилом: «или все, или ничего», иначе из нас ничего и не выйдет. Можно так или иначе объяснить нашу житейскую неумелость, беспомощность; но мириться с ней — преступно; ибо это равносильно отказу от того живого дела, которого прежде всего требует от нас правда. Идеалу изменяет не тот, кто совершает к нему трудный, долгий путь восхождения, а именно тот, кто отвергает ведущие к нему ступени и, гнушаясь труда, складывает руки.

Рано или поздно в нашем общественном сознании утвердится та истина, которая в последние дни жизни Гоголя была его заветной мыслью: что путь к идеалу есть лестница. Как бы долог и труден ни был этот путь, он должен быть пройден до конца.

Но, чтобы найти в себе потребные для этого силы, нам нужно всем сердцем верить в ту цель, к которой мы идем. Надо никогда не ослабевать в искании России и сквозь бедность окружающей жизни

уметь различать ее идеальный, духовный облик. Когда-нибудь она победит и наполнит содержанием то беспредельное пространство, с которым она ныне борется: оно перестанет быть пустым и бесприютным. В том порукой нам — наше великое искусство, которое заселяет пустыню образами, тот гениальный творческий дар, который явился в произведениях наших художников. Любовь к России родила эти чудные образы и звуки, и творческая сила этой любви доказывает, что жива Россия. По слову Достоевского, красота спасет мир. Будем же верить в тот дивный, прекрасный, новый мир, в котором само пространство станет песнью. В нем родина — навеки наша.

Тот странник-богоискатель, который всегда жил в лучших произведениях русской литературы, когда-нибудь достигнет цели своих странствований и найдет ту Россию, которую все мы ищем. И как бы ни были необходимы внешние преобразования, ими одними это не будет достигнуто: по вещему слову Гоголя, для этого нужно внутреннее дело души, прочное дело жизни.

## **Старый и новый национальный мессианизм.**

Едва ли найдется какое-либо другое человеческое чувство, которое бы в наши дни подвергалось более глубоким изменениям, чем чувство национальное. После целого ряда огненных испытаний, через которые оно прошло, мы переживаем его совершенно иначе, чем прежде. Оно не уменьшилось в силе и глубине; во внутреннем существе своем оно осталось целым; но вместе с тем оно изменилось в чем-то основном и чрезвычайно важном. И оттого-то все старые формы, в которых оно прежде выражалось, кажутся нам глубоко неудовлетворительными. Поблекли старые национальные мелодии, и мы находимся в ожидании новых, которые должны явиться им на смену.

Всего нагляднее это сказывается в подлинном царстве мелодии — в музыке. Помнится, в начале восьмидесятых годов молодые люди моего поколения не видели пятен в «Руслане», слушали с энтузиазмом «Жизнь за царя» и испытывали восторг от ранних произведений Чайковского. А теперь постыло почти все, что тогда радовало. В «Руслане» многое представляется нам окончательно устаревшим. «Народ» в «Жизни за царя» кажется нам уже не крестьянами, а пейзажами; а в мнимонародных мотивах ранних произведений Чайковского слышится невыносимая для уха фальшь. Хорошая треть, если не половина, нашей национальной музыки состоит из увядших мотивов, которые теперь невозможно слушать. Мотивы эти, очевидно, отражают собою какие-то давно пережитые национальные иллюзии, которые современному образованному человеку совершенно чужды.

То же явление замечается и в других сферах национального творчества, в особенности же в области мысли. Здесь тоже есть своя «музыка прошлого», которая не имеет будущего, свои увядшие мотивы, окончательно неприемлемые для современного уха. И в их числе одно из первых мест занимает тот, о котором я поведу речь сейчас, идея русского национального мессианизма.

Я помню, в дни молодости моей она заставляла биться сердца совершенно так же, как музыка «Жизни за царя». А теперь, когда

приходится слышать новейшие вариации на ту же, некогда любимую тему, испытываешь мучительное чувство неловкости, как будто в одно и то же время совестно и больно: точно какая-то очень глубокая внутренняя святыня оскорбляется неподходящей и неуместной формой выражения. К великому нашему счастью, нам здесь дано распознать фальшивую ноту, которой наши предки не чувствовали.

В известном народном пересказе беседа Христа с Самарянкой передается буквально так: «Она Ему говорит: как же я Тебе дам напиться, когда ты — Еврей; а Он ей в ответ: врешь, говорит, я чистый русский». Рассказ этот всегда неизменно вызывает снисходительную улыбку по адресу темного, безграмотного, простого народа. Между тем он выражает собою самую сущность той национально-мессианской психологии, которая, быть может, еще в большей степени увлекала людей высокообразованных и культурных.

Так или иначе русский национальный мессианизм всегда выражался в утверждении русского Христа, в более или менее тонкой русификации Евангелия. В талантливой книге об А.С. Хомякове Н.А. Бердяев совершенно правильно считает признаком национального мессианизма утверждение исключительной близости одного народа ко Христу, признание его первенства во Христе. В этом он совершенно справедливо полагает отличие мессианизма от миссионизма. Народов с каким-либо призванием или миссией, в частности с миссией религиозной, может быть много. Между тем народ-Мессия может быть только один. Как только мы допускаем, что народов-богоносцев, призванных спасти мир, существует не один, а хотя бы несколько, мы тем самым разрушаем мессианское сознание и становимся на почву миссионизма. Существенная черта национального мессианизма заключается в национальной исключительности религиозного сознания. В этом и есть причина, почему в наши дни этот мессианизм принадлежит к числу мотивов увядших. Увядание есть роковая судьба всякого растения, оторванного от корня. Бытовой корень нашего национального мессианизма скрывается в отдаленном прошлом русской жизни, в таких настроениях, и чувствах, которые уже давно и безвозвратно канули в вечность.

Раньше нас были другие времена и другие поколения, которые не чувствовали противоречия в идее «русского Христа». Этой иллюзией дышала допетровская Русь. Было время, когда наши предки жили

мечтою о третьем Риме, призванном «спасти и обновить мир». Эта мечта зародилась в настроении эпохи, которую В.О. Ключевский удачно характеризует как эпоху «затмения вселенской идеи». После падения второго Рима — Константинополя — «третий Рим» — Москва возомнила себя единственным в мире убежищем правой веры и истинного благочестия. В то время православная Русь считала себя единственной обладательницей Христа и христианства; греков она презирала, а инославные вероисповедания ставила на одну доску с язычеством. Говоря словами В.О. Ключевского, органический порок древнерусского церковного общества заключался в том, что «оно считало себя единственным истинно правоверным в мире, свое понимание Божества исключительно правильным. Творца вселенной представляло своим собственным русским Богом, никому более не принадлежащим и не ведомым» (т. III, 383).

Традиционное благочестие, унаследованное славянофилами от предков, содержало в себе сильную примесь этого «органического порока». Правда, как совершенно верно указывает Н.А. Бердяев, в сознании Хомякова мессианизм еще боролся с миссионизмом; однако и в его настроении черты старомосковского мессианического самомнения были выражены достаточно ясно: он считал Россию избранным народом, утверждал ее первенство во Христе и верил в ее призвание — спасти все народы:

И станешь в славе ты чудесной  
Превыше всех земных сынов,  
Как этот синий свод небесный -  
Прозрачный Вышнего покров.

Понятно, что и тут в основе национального мессианизма лежало «затмение вселенского». Хомяков мог верить в Россию как единственную в мире спасительницу народов, лишь поскольку он проводил знак равенства между вселенским и «православным», а на место «православного» так или иначе подставлял русское. Однако у Хомякова в этом отношении были колебания; стертая граница между вселенским и русским у него от времени до времени восстанавливалась. Она исчезла окончательно у Достоевского, который должен быть признан наиболее типическим выразителем русского национального мессианизма.

Для него западные вероисповедания — выражение веры нехристианской; в особенности римский католицизм, говоря его словами, «не Христа проповедует, а антихриста». По Достоевскому, он, в сущности, даже и не вера, а продолжение западной римской империи. Этим-то и определяется призвание России. Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали». Обновление человечества в будущем совершится «одной только русской мыслью, русским Богом и Христом». Именно в России совершится новое пришествие Христово. Народ русский есть «на всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога», ему одному «даны ключи жизни и нового слова» (См. речи кн. Мышкина в «Идиоте» и Шатова в «Бесах»).

Вероисповедная и национальная узость этой формы «мессианизма» была основательно разоблачена В.С. Соловьевым. Утверждать, что Церковь св. Бернарда, св. Франциска, Фра Беато и немецких мистиков не знала Христа и что нам предстоит впервые явить Его Западу, после этих разоблачений стало невозможным; так же невозможною стала горделивая мысль, будто все западное христианство уклонилось в язычество, а христианство восточное осталось свободно от этих уклонений. К сожалению, сознание грехов и противоречий старого славянофильства не спасло самого Соловьева от того же рокового увлечения. В другой форме и у него воскресла старая традиционная мечта о третьем Риме и о народе-богоносце. Он вообразил, что из всех народов в мире один народ русский есть народ теократический, или царский, призванный утвердить на земле Царствие Божие в форме святой государственности и общности.

Мы имеем здесь иллюзию, которая умерла и не воскреснет. Я не говорю о тех бесчисленных посрамлениях, которым подвергалась и доселе подвергается русская государственность: одних эмпирических фактов недостаточно, чтобы поколебать веру, которая по самой природе своей есть «уповаемых извещение» ([Евр. 11:1](#)). Но в данном случае потерпела крушение не какая-либо «эмпирическая данность», не какая-либо конкретная величина, а самая идея святой государственности. Теократия, как таковая, была изобличена и развенчана; в этом пришлось убедиться самому Соловьеву (См. мою статью «Крушение теократии в творениях Соловьева»). Русская мысль.

1912. Январь). К концу жизни он понял, что государственности, как таковой, нет места в Царствии Божием, что Царствие Божие даже в земном своем осуществлении не теократично, а анархично. Тем самым рухнула мечта об особой мессианической задаче Русского государства. Но вместе с тем пала и последняя опора русского национального мессианизма. Теперь совершенно непонятно, на чем он держится.

Каковы бы ни были недостатки старорусского национального мессианизма, у него, по сравнению с мессианизмом новейшим, было одно несомненное преимущество — преимущество цельности и последовательности: его сторонники могли дать ясный отчет в своем уповании. На вопрос, чем удостоверяется особое избрание и особая близость России ко Христу, наши отдаленные допетровские предки могли отвечать словами инока Филофея, обращенными к великому князю Василию, отцу Грозного: «Соборная Церковь наша в твоём державном царстве одна теперь паче солнца сияет благочестием во всей поднебесной; все православные царства собрались в одном твоём царстве; на всей земле один ты — христианский царь».

Так же и Хомяков и Достоевский могли совершенно ясно и ответить, почему для них «народ православный» — «превыше всех сынов земли». Равным образом и Соловьев, в средний период своего творчества, мог обстоятельно и точно объяснить, почему солью земли и народом царским он считает именно народ русский.

Как раз этой ясности недостает современным поборникам национально-мессианской идеи, и это — по той простой причине, что у них эта идея оторвана от всех своих исторических корней. Они не могут отождествлять православного с вселенским, потому что это значило бы вычеркнуть из своего образования Соловьева. Так же невозможна для них стала пережитая и отвергнутая самим Соловьевым вера в теократическую империю, в мессианическое Русское царство.

Сильнее, чем теократическая проповедь Соловьева, звучит его пророческое предостережение:

Смирится в трепете и страхе,  
Кто мог завет любви забыть...  
И третий Рим лежит во прахе,  
А уж четвертому не быть.

Чтобы извлечь наше национальное мессианство из-под этих развалин, в наши дни требуются большая отвага и величайшее напряжение творчества. Обрушились не только стены старого горделивого строения. Самый его фундамент по ветхости своей и узости пришел в негодность и стал окончательно неприемлем для современного религиозного сознания. На чем же утверждаются новейшие национально-мессианические чаяния?

## II

Тут перед русской религиозной мыслью, как в сказе об Иване-царевиче, открываются три дороги. Изберет она средний путь, поедет прямо перед собою — будет ей и холодно и голодно и никуда она не доедет. Поедет она направо — сама погибнет, но зато конь останется целым. К счастью, есть еще и третий спасительный путь — налево: тут приходится пожертвовать любимым коньком. Зато сама религиозная мысль останется целой.

Два первых пути уже испробованы. Средним путем поехал С.Н. Булгаков, который предлагает некоторый компромисс между вселенским идеалом и старой славянофильской концепцией. С одной стороны, от его внимания не ускользнул тот факт, что Достоевский верил не в религиозное призвание только, а в «исключительную миссию» русского народа (Два града, т. II, стр. 240). С другой стороны, однако, в его собственном религиозном сознании против этой исключительности восстает вселенская христианская идея. Чтобы выйти из этого затруднения, он решил пожертвовать исключительностью, смирить гордость национального мессианства посредством «аскетического урегулирования» национального чувства (Подлинное выражение С.Н. Булгакова, там же, стр. 290). Но эта попытка найти средний путь между Сциллой и Харибдой вселенского христианства и языческого национализма старого славянофильства не послужила на пользу ни религиозной мысли, ни ее любимому коню. С одной стороны, от «национального аскетизма» национальному мессианизму стало и холодно и голодно. Он похудел и побледнел до неузнаваемости, почти совершенно утратил свою физиономию. С другой стороны, изголодавшаяся по вселенскому христианству религиозная мысль не получила той новой пищи, которая могла бы ее насытить; она не достигла цели и не подвинулась вперед, потому что не решилась расстаться с любимым конем.

Решение, к которому пришел С.Н. Булгаков, одинаково неудовлетворительно и с точки зрения последовательного национального мессианизма, и с точки зрения последовательного христианства. Он ясно видит, что национальный мессианизм легко переходит в то, «что обыкновенно называется национализмом». По его словам, «идея избрания слишком легко вырождается в сознание особой привилегированности, между тем как она должна родить обостренное чувство ответственности и усугублять требовательность к себе». «Национальный аскетизм должен полагать границу национальному мессианизму, иначе превращающемся в карикатурный отталкивающий национализм» (там же).

В этих словах обнаруживается самая слабая точка всего построения С.Н. Булгакова. «Ограниченный мессианизм» есть кричащее внутреннее противоречие. Одно из двух: или данный народ есть воистину народ-Мессия, единственный в мире народ, призванный явить спасение всему миру, или он не Мессия вовсе. Мессианическое призвание «избранного» народа не может быть ни ограничено, ни разделено им с каким-либо другим народом. В этом можно убедиться на примере того единственного национального мессианизма, истинность которого с христианской точки зрения представляется вполне достоверною. Если бы евреи в Ветхом завете не были единственным избранным народом, призванным родить Христа, если бы Ветхий завет вообще не был заключен Богом с одним Израилем в отличие от прочих народов, Израиль не был бы народом-богоносцем и народом мессианическим.

Ограничивать исключительность национального мессианизма значит просто-напросто уничтожать его. В этом отношении мессианическая теория С.Н. Булгакова в высшей степени поучительна. По его толкованию, «славянофильское выражение — русский Христос» можно понимать, между прочим, и в смысле констатирования того факта, что разные народности, как реально различные между собою, каждая по-своему воспринимают Христа и изменяются от этого принятия. В этом смысле можно говорить вполне серьезно и без тени всякого кощунства не только о русском Христе, но и о греческом, об итальянском, о германском, так же как и о национальных святых (Два града, г. II, стр. 298—299).

Это истолкование во всех отношениях и со всякой точки зрения неприемлемо. Достоевский, который в самом деле думал, что мир должен быть спасен неведомым Западу русским Христом, увидел бы в признании немецкого и итальянского Христа полное ниспровержение своей веры в «народа-богоносца» и был бы прав, потому что весь смысл этой веры в том, что одному народу русскому «даны ключи жизни и нового слова». С другой стороны, совершенно неудовлетворенным остается и вселенское, христианское сознание.

Идея «русского Христа», как понимает ее С.Н. Булгаков, тем более соблазнительна и опасна, что в ней заблуждение смешано с некоторою частицею истины, а потому не сразу бросается в глаза. Истина тут заключается в констатировании факта, что различные народности воспринимают Христа каждая по-своему. Заблуждение же заключается в возведении этого факта в принцип и норму. Это легче всего объяснить сравнением. Возможно, что различные народы по-разному воспринимают не только Христа, но и свет солнечный, так как не видят одинаково всех цветов спектра. Например, древние греки называли море не голубым, а «фиалковым», вследствие чего существует предположение, что голубого луча в солнечном свете они не видели. Возможно, что существуют и теперь другие факты цветной слепоты, различные у различных народов. Не станем же мы, однако, на этом основании говорить о солнце греческом, германском или итальянском и утверждать, что нам всех ближе солнце русское. По словам С.Н. Булгакова, истинная религия, «будучи сверхнародна по своему содержанию, остается не безнародна по способу усвоения» (Там же, стр. 298). Совершенно верно, но почему же, однако, нам кажется странным и даже смешным говорить об истине немецкой, итальянской или русской; почему это очевидное во всех других случаях нарушение единства истины вдруг перестает быть очевидным, когда речь идет о высшем откровении безусловной Истины — о Христе? Во всех других случаях для нас на первом плане сама Истина в ее полноте. Зачем же нам во Христе прежде всего искать и утверждать нашу «Святую Русь», наш несовершенный национальный угол зрения с его неизбежной ограниченностью и цветной слепотой? И дозволительно ли эту цветную слепоту превращать в определение самой истины, т. е. в данном случае — самого мессианства! Христос

русский, итальянский и немецкий — ведь это все равно что фиолетовое, зеленое или голубое солнце.

По С.Н. Булгакову, «способность совершенно особого восприятия божественной полноты, выделения из нее особого луча из божественной плеромы и есть то, что для религиозного воззрения представляется в природе национальности наиболее ценным и важным» (Два града, т. II, стр. 299). Тут-то и бросается в глаза роковой недостаток всей разбираемой точки зрения. Ведь божественная плерома объединяет в себе все лучи спектра, всю ту бесконечно многообразную радугу цветов, которая составляет содержание духовной жизни всех национальностей. Неужели же в природе национальности самым важным и ценным представляется ее способность воспринимать один только свой особый луч? Не значит ли это возводить в идеал и норму национальную ограниченность? Это несправедливо прежде всего в отношении самой национальности. Совершенно верно, что у каждой национальности есть свой «особый луч»; но самое важное и ценное в ней не ее способность отделяться и замыкаться в этой своей особенности, а ее призвание — объединять этот луч со всеми другими лучами в единстве плеромы, ее способность видеть их всех в единстве белого солнечного луча. Этим окончательно ниспровергнут «национальный мессианизм» в смягченной булгаковской его форме. Национальным может быть лишь тот или другой ограниченный угол зрения на мессианство, но отнюдь не оно само. На случай, если сказанное по этому предмету покажется недостаточно убедительным, я позволю себе напомнить, что точка зрения С.Н. Булгакова за много веков до него была известна апостолу Павлу и вызвала с его стороны протест столь же горячий, сколь и убедительный.

По словам С.Н. Булгакова, «нам, русским, ближе и доступнее именно наш русский Христос, Христос преп. Серафима и преп. Сергия, нежели Христос Бернарда Клервоского, или Екатерины Сиенской, или даже Франциска Ассизского» (там же). С точки зрения чисто фактической это, разумеется, так же верно, как и то, что католикам ближе христианство Петрово, а протестантам христианство Павлово. Но фактически нам, может быть, еще ближе христианство Обломова. Вот почему, если мы попытаемся наше фактическое

возвести в нормальное и должное, мы встретимся с категорическим запретом апостола Павла.

Тот факт, что Истина вселенская и общенародная усваивается людьми по-своему и что в христианстве существуют различные углы зрения, разумеется, не укрылся от его внимания. Он знал, что есть христианство Петрово, Павлово и Аполлосово. Но он с решительным осуждением высказался о тех, кто принимает эти различные способы восприятия истины за окраску самой истины.

*«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами деления, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры: Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились?»* ([1Кор. 1:10-13](#)). То же отвечал бы апостол Павел и тем, кто думает, что нам всего ближе Христос св. Серафима и Сергия и что это свое, особенное, «близкое» в национальности с религиозной точки зрения всего ценнее. Апостол советует всем христианам без различия национальностей соединиться в одних мыслях о Христе. И в этом заключается та разграничительная черта, которая отделяет истинного Мессию от ложного партикуляристического «мессианизма».

Подлинный Христос соединяет вокруг себя в одних мыслях и в одном духе все народы. Он везде, где собираются двое или трое во имя Его. Но кто же соберется во имя Христа русского? Он оттолкнет не только немцев и итальянцев, но даже и самих русских. Верующие соединятся с неверующими в живом против него протесте. И это оттого, что настоящий сверхнародный Мессия и нужнее и ближе подлинному религиозному сознанию, чем ограниченное национальное божество. Тот истинный Христос, в которого мы готовы верить, поднимает нас над нашими национальными немощами, а не утверждает нас в них. Затмению вселенской идеи пришел конец, и национальному мессианству суждено такое же забвение, как осужденному апостолом Павлом христианству домашних Хлоиных.

### III

Другая попытка воскресить его принадлежит Н.А. Бердяеву, который решительно избрал путь направо; он утверждает

национальное мессианство во всей его чистоте и целости, без всякого компромисса с какими-либо новейшими течениями. Тут «конь» остается целым, но зато гибнет всадник; для религиозной мысли этот путь — самый опасный, потому что здесь она неизбежно утрачивает свое вселенское содержание.

У Н.А. Бердяева этот антагонизм между национально-мессианским и вселенским сказывается в форме чрезвычайно яркой и определенной. Я уже отметил, что в мессианизме в противоположность миссионизму он видит исключительное призвание одного избранного народа — народа Божьего — в отличие от прочих. Об этом он говорит буквально так:

«Данный народ — избранный народ Божий, в нем живет Мессия. Всякий мессианизм коренится в мессианизме древнееврейском. Так, польские мессианисты верили, что польский народ есть Христос среди народов, что гибель Польши была распятием Мессии, что это — народ избранный и исключительный, призванный быть провозвестником новой христианской эпохи» (А.С. Хомяков, стр. 209).

Н.А. Бердяев совершенно не замечает, что в этих словах его заключается злейшая критика на его собственную точку зрения. Если русский национальный мессианизм «коренится в мессианизме древнееврейском», то ясно, что он представляет собою возвращение к тому ветхозаветному образу мыслей, который в Новом Завете не может иметь оправдания и применения. Основное отличие Нового Завета от Ветхого именно в том и заключается, что последний есть национальный, тогда как первый — универсальный, общенародный. Мессианизм есть именно утверждение особого завета между Богом и каким-нибудь определенным избранным народом Божиим. Какие же основания есть у Н.А. Бердяева утверждать такой завет между Богом и Россией?

От эмпирического обоснования своей веры в «народа-богоносца» он отказывается, и в этом он, разумеется, совершенно прав: фактами вообще невозможно ни обосновать, ни опровергнуть религиозную веру, тем более в данном случае, когда вследствие великого множества фактов отрицательных вера в «народ-Мессию», по признанию ее собственных сторонников, подвергается «огненному испытанию».

Вместо того Н.А. Бердяев мечтает об обосновании мистическом. По его словам, «дух народа воспринимается лишь мистической и

художественной интуицией. А религиозное призвание его зависит от пророчеств» (Там же, стр. 178). «Нельзя обосновать никакого мессианизма на вере, как на историческом и этнографическом факте, т. е. на вере как объекте исторического познания; мессианизм можно обосновать лишь на вере как факте внутреннего откровения и прозрения, на вере как субъекте познания» (Там же, стр. 151).

Н.А. Бердяев относится с чрезмерным доверием к внутреннему откровению или мистической интуиции. Судя по его «Философии свободы», он склонен даже считать интуицию неподсудною дискурсивному мышлению. Опасность такой точки зрения уже давно указана в известном сказании о святом, которому явился бес во образе ангела света. Угодник не рассмотрел, что у него петушиные ноги, и поклонился ему; а бес подхватил его и стал кружить в пляске. Из сего следует, что, прежде нежели доверять «интуиции», надо тщательно рассмотреть, на каких ногах она держится. В том же направлении предостерегает другой, уже совсем нелегандарный источник, который должен был бы обладать безусловной достоверностью для Н.А. Бердяева. Апостол Иоанн говорит: *«возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они: потому что много лжепророков появилось в мире»* ([1 Ин. 4:1](#)). Апостол тут же дает дискурсивной мысли критерий для испытания духов и пророчеств: от Бога — только тот дух, который исповедует Христа, пришедшего во плоти; всякий же другой дух — не от Бога, а от антихриста ([1Ин. 4:2-3](#)).

Испытывая с этой точки зрения «внутреннее прозрение» Н.А. Бердяева, приходится убедиться в полном его противоречии с объективным явлением Христа, пришедшего во плоти. В объективном откровении не только нет каких-либо следов русской точки зрения, но она прямо исключается и духом и буквой Евангелия. Решительно умалчивая о каком-либо исключительном отношении Христа с каким-либо одним народом, оно ясно и категорически говорит об общем призвании их всех.

*«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все то, что Я повелел вам»* ([Мф. 28:19-20](#)).

Вот почему на почве Нового Завета так ясно обнаруживается несостоятельность взаимно друг друга уничтожающих

мессианических притязаний различных народов, все равно, русских, польских или португальских, о которых было недавно сообщено в одной из наших газет.

С точки зрения чисто человеческой вполне понятно и естественно это притязание, чтобы свое родное, домашнее или народное заняло первое место в Боге или после Бога. В основе всякого национального мессианства лежит одна и та же до сих пор не умирающая и всегда одинаково неосновательная претензия матери сынов Заведеевых. Христос говорит ученикам о смерти своей и воскресении. А она спешит прицепить к вечным обетованиям свое земное, материнское, языческое пожелание. *«Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве Твоем»* ([Мф. 20:21](#)). В общем, наш национальный мессианизм выражает собою довольно близкое к этому пожелание, чтобы наша мать-Россия сидела в Царстве Божием по правую руку Спасителя. Существо дела, разумеется, не меняется от того, для сынов или для матери мы домогаемся этой чести. Ответ Спасителя остается все тот же.

*«Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом»* ([Мф. 20:25-27](#)).

Где есть истинный Мессия, там, стало быть, нет места спорам о первенстве ни между людьми, ни между народами. Каждый народ, как и каждый человек, должен думать лишь о своих обязанностях и о своем служении, а не о своих преимуществах перед другими народами. Тем самым, вопреки Н.А. Бердяеву, оправдан не мессианизм, а миссионизм по отношению к нациям. У каждого народа свое служение, свое призвание и своя миссия в Царстве Божием. Иного решения не может быть с точки зрения религии универсальной, которая стоит на том, что в доме Отца Небесного обителей много.

Если Н.А. Бердяеву кажется, что именно мессианское национальное сознание есть сознание вселенское и религиозное, «проникнутое верою в Мессию» (цит. соч., 210), это именно и значит, что он не разглядел дерзновенного обмана переряженного языческого национализма. Опасность велика; национализм этот уже не раз кружил русские головы обманчивой личиной правды; и дело всегда кончалось бесовским танцем.

У Н.А. Бердяева до этого еще не дошло, но уже и у него замечаются зловещие признаки головокружения, вызванного национальной гордостью. Так, например, он думает, что одни русские взыскивают Небесного Иерусалима, сходящего на землю. Этим будто бы «русские радикально отличаются от людей Запада, прекрасно устроившихся и довольных, град свой имеющих» (цит. соч., 245—246). В сущности, ведь это значит утверждать, что религиозность вообще есть исключительно русская черта, ибо что же вообще такое религиозность вне «искания града»? В своем патриотическом ослеплении Н.А. Бердяев не замечает здесь ни блаженного Августина, ни Франциска Ассизского, ни Жанны д'Арк, ни немецкой мистики, ни всего того, что составляет религиозную идею и религиозную жизнь Запада (Это тем более странно, что в других местах той же книги о Хомякове он восстает против чрезмерной узости славянофильского национализма.).

Но еще опаснее этого — ослепление на собственный наш счет, возвеличение наших национальных качеств, притом не только добродетелей, но и самых недостатков. Так, например, Н.А. Бердяев замечает внутренние противоречия славянофильского мессианизма, но он вменяет ему эти противоречия в заслугу, возводит двойственность в принцип.

По его словам, «в стихотворениях Хомякова отражается двойственность славянофильского мессианизма: русский народ — смиренный, и этот смиренный народ сознает себя первым, единственным в мире. Славянофильское сознание бичует грехи России, и оно же зовет Россию к выполнению дерзновенной, гордой задачи. Россия должна поведать миру таинство свободы, неведомое народам западным. Смирненное покаяние в грехах, самоуничтожение, национальное смирение чередуются у Хомякова с «гром победы раздавайся». Хомяков хочет уверить, что русский народ — не воинственный, но сам он, типичный русский человек, был полон воинственного духа, и это было пленительно в нем. Он отвергал соблазн империализма, но в то же время хотел господства России не только над славянством, но и над миром» (стр. 220).

Казалось бы, отсюда следует только один возможный вывод: христианство не терпит таких противоречий, оно несовместимо с этой гордостью, которая возводит что-либо относительное — все равно,

национальное или личное в безусловное. Не так, однако, рассуждает Н.А. Бердяев.

По его мнению, «эта антиномичность мессианского сознания неизбежна, это сознание противоречиво по существу, и противоречивость эта не есть отрицание правды его. Нельзя рационалистически преодолеть противоречия славянофильского сознания, — нужно принять и изжить их. Самый смиренный народ — самый гордый народ. С этим ничего не поделаешь. С мессианским сознанием не мирится лишь (?) самодовольство и поклонение голому факту» (стр. 220).

Ввиду частых за последнее время злоупотреблений понятием «антиномизм» нелишним будет вспомнить, что под «антиномией» принято разуметь необходимое противоречие, с которым неизбежно сталкивается мысль при исследовании того или другого философского вопроса. С этой точки зрения приходится убедиться в отсутствии чего-либо похожего на «антиномию» там, где видит ее Н.А. Бердяев. Если тот или другой народ смиряется перед Богом и вместе гордится высоким призванием, которое он действительно имеет, то тут нет не только антиномии, но даже и противоречия, потому что «гордостью» в данном случае называется не отсутствие смирения, а просто признание за собою известного достоинства, что вполне совместимо со смирением. Человек может признавать за собою царственное достоинство по отношению к низшей природе и вместе с тем смиряться перед высшим Божественным миром; тут смирение и гордость даже не сталкиваются между собою и не противоречат друг другу, потому что относятся к разным сферам бытия. Наоборот, в национальном мессианстве Н.А. Бердяева есть несомненное противоречие; но оно не включает в себе антиномии, потому что представляет собою простую и легко устранимую ошибку. Тут «народ-богоносец» в одно и то же время самый смиренный, потому что он смиряется перед Мессией как высшим, и самый гордый, потому что он сам мнит себя народом-Мессией, стирает ту самую грань между низшим и высшим, во имя которой должно смиряться. Тут мы имеем действительно несовместимое со смирением самопревознесение. Народ, «смирненно мнящий себя Мессией» и в качестве такового гордящийся своим преимуществом перед другими народами, просто-напросто смешивает в своем лице черты Христа и Вельзевула. Нужна

большая степень ослепления, чтобы не видеть здесь петушинные ноги у ангела и принимать их за антиномию.

Понятно, что наша эпоха пробуждения и подъема религиозного сознания является вместе с тем и критическим периодом религиозных искушений и неслыханных доселе соблазнов. Враждебные религии силы делают все возможное, чтобы для себя использовать новые источники воодушевления, навести туман на мысль, овладеть воображением и обмануть религиозное искание. Чтобы не стать жертвой обмана, когда грубого, а когда и тонкого, нужно удвоить бдительность и с величайшей критической осторожностью относиться ко всяким религиозным учениям. В наше время объявилось много истолкований веры, которые, при глубоких принципиальных различиях в других отношениях, сходятся в общем стремлении локализовать Христа — подставить на место универсального Его явления что-либо местное, ограниченное. Одни утверждают, что «Он — здесь в потаенных комнатах» — ведет таинственные беседы с кружками посвященных. Другие возражают: нет, Он там — в Ясной Поляне; третьи отождествляют Его царство с революцией; они полагают, что Он в левых партиях и срывает аплодисменты на многолюдных собраниях интеллигентов. Наконец, четвертые заявляют: нет. Он странствует по всему простору земли русской, дружит с бунтарями, но в общем смахивает на «дядю Власа».

Евангелие, как известно, рекомендует не верить всем этим заявлениям, что Христос «вот здесь или вот там», и ждать того всемирного явления Сына Божия, которое как молния прорежет небо из края в край.

В ожидании этого явления нам надлежит отказаться ото всего, что ограничивает и суживает общенародное мессианство, в том числе и от мессианизма национального.

#### IV

Тут перед нами открывается единственно спасительный путь налево. Конь старого славянофильства должен быть отдан на съедение критике; но его гибель окажется спасительной для всадника. Пожертвовав этим земным пристрастием, он не только останется цел, но отделится от земли, поднимется выше лесу стоячего и найдет дорогу к жар-птице.

Здесь религиозной мысли не приходится изобретать чего-либо нового. Тот волшебный путь, который предстоит пройти нашему Ивану-царевичу, есть на самом деле давно проторенная и большая дорога, которая много превосходит древностью не только славянофильство, но и саму Россию. Она предуказана Спасителем, пройдена Его учениками и с изумительной яркостью изображена «апостолом языков». У него мы найдем христианское учение о национальности, замечательно стройное, целостное и выраженное с исчерпывающей полнотой.

Последние слова Спасителя, обращенные к апостолам, ясно и вразумительно свидетельствуют о том, где после вознесения Христова надлежит искать истинного Мессию. Слова «и се Аз с вами до скончания века» ([Мф. 28:20](#)) непосредственно связываются с предписанием учить и крестить все народы и прямо дополняют его. Ясно, что Мессия и мессианство пребывает «до скончания века» — не в особом национальном способе усвоения Истины, а во всенародном учении и крещении. Здесь же в этом единении всех языков во Христе, а не в выделении «особого луча» из божественной плеромы раскрывается положительный смысл и ценность каждой национальности.

Самое существование национального мессианизма возможно лишь благодаря забвению Пятидесятницы. Она не имела бы места, если бы апостолы чрез сошествие Св. Духа не отрешились от особой близости к национальному еврейскому мессианству.

Апостолам подлинного мессианства на земле были одинаково близки все народы; и оттого-то их высшее религиозное вдохновение заговорило всеми языками в мире. Два великих чуда совершились в Пятидесятнице: во-первых, она собрала все народы земли во едином исповедании; во-вторых, она утвердила положительное призвание каждого народа через упразднение естественных границ между национальностями. Основное отличие между национальностями, язык тут не только не упразднился, но получил высшее утверждение и освящение. Каждый народ нашел в этом откровении всенародного Мессии свой особый огненный язык. Но в Пятидесятнице эти особые языки перестали быть границами для всенародного общения. Для продолжателей и преемников Мессии все языки земли стали одинаково прозрачны и понятны. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди

*набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились»(Деян. 2:5-8).* Те, кто утверждает, что языки должны не соединять людей во Христе, а разделять Христа на множества отдельных явлений по национальностям, явно заменяют Пятидесятницу вавилонским столпотворением.

В основе этого заблуждения лежит смешение естественных особенностей каждого народа с его мистической идеей, языка природного и языка огненного. Природный язык каждого народа отделяет и разлучает его от прочих. Напротив, его огненный язык не знает национальных преград; всем людям близкий и понятный, он обращается ко всем народам и всем сообщает высшие духовные дары. Не всем дано говорить этим пророческим языком народного гения, а только высшим его представителям и носителям — величайшим проповедникам, творцам искусства и мыслителям, коих вечная мудрость избрала своими глашатаями. Но как бы ни были малочисленны эти избранники Божии, их огненный язык, а не хаотическое людское просторечие выражает смысл народной жизни. Не в обособлении, а в объединении всех звучит подлинный мистический язык каждой отдельной народности.

Совершенно верно, что всенародное не есть безнародное: в мессианстве народности не упраздняются, а объединяются между собою; но это именно и значит, что среди народов оно выражает собою начало объединяющее, а не обособляющее, всеединство, наполняющее их жизнью общей. Именно так изображает апостол Павел нормальное, должное отношение народов ко Христу. Человечество представляется ему в виде единого дерева, в коем корень — Христос, а отдельные народности — ветви. И с этой точки зрения он предостерегает народы против увлечения ложным мессианизмом. Единственный в мире избранный, мессианический народ отпал от Бога; значит ли это, что в Новом Завете какой-либо другой народ вместо Израиля должен стать избранным народом Божиим? На этот вопрос апостол языков отвечает категорическим отрицанием. *«Если начаток свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился*

*на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишь пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя. Скажешь: ветви отломались, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломались неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Но если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» ([Рим. 11:16-21](#)).*

С точки зрения этого органического понимания взаимных отношений мессианского и народного ясно обнаруживается ложь всяческого национального мессианизма. Точка зрения Достоевского изобличается в том, что она принимает ветвь за дерево; а смягченный мессианизм, утверждающий особую к нам близость русского Христа, превращается в явно фантастическое суждение, будто во всенародном древе жизни отдельная ветвь нам больше корня.

V

В дополнение ко всему сказанному об отношении нашего национального мессианизма к сознанию религиозному, христианскому остается указать на тот вред, который он приносит самосознанию национальному. В нем мы находим основной недостаток всякой ложной идеализации: возводя наше относительное земное, человеческое в безусловное и безотносительное, он тем самым погрешает и против Безусловного, и против относительного. В идее «русского Христа» в одинаковой мере извращается и образ Христов, и русская национальная идея. Быть может, именно благодаря этому искажению мы до сих пор о ней так мало знаем. Увлечение Россией воображаемой помешало нам рассмотреть как следует Россию действительную и, что еще хуже, русскую национальную идею; духовный облик России хронически заслонялся фантастической грезой «народа-богоносца».

Сказалось это как раз в наиболее крупных явлениях нашей религиозной мысли, у славянофилов, у Достоевского, у Соловьева. Славянофилы видели основное определение русского народного духа в том, что народ русский — народ православный. Но удалось ли им выяснить специфические особенности православия, те положительные черты, которые делают его ценным? Нет, и причина этой неудачи заключается все в том же первородном грехе, в роковом смешении русского, православного и вселенского.

Для Хомякова невозможна самая постановка вопроса о специфических особенностях восточного православного христианства, потому что, вопреки апостолу, оно для него не ветвь, а целое дерево. Он не может признать православия особым, специфическим явлением среди христианства, потому что он отождествляет его с самим христианством. Православное или вселенское христианство для него — одно и то же. Поэтому он определяет православие такими общими чертами, которые составляют свойство христианского церковного идеала вообще. Говоря словами Н.А. Бердяева, у него «вся святость вселенской церкви Христовой — свобода, любовь, органичность, единство — все заключено лишь в восточном православии, в западном же католичестве ничего этого нет, есть одни лишь уклоны и грехи человеческие» (Цит. соч., стр. 94.).

Соловьев справедливо восстал против этой вероисповедной узости. Но дал ли он сколько-нибудь удовлетворительное решение вопроса о религиозном значении православия и о религиозной задаче России? Все, что он говорил по этому предмету в первый и средний периоды своего творчества, глубоко неудовлетворительно. И причина тому — все то же увлечение национальным мессианством, хотя выразилось оно у Соловьева в совершенно иной форме, чем у Хомякова. Хомяков не понял местного, особенного в православии, потому что отождествлял его с вселенским. Наоборот, Соловьев отнесся к этим местным особенностям без должного внимания, пренебрегая ими, именно потому, что для него они были местные. Внимание его было поглощено мечтой об универсальном мессианизме России. Он отождествлял русскую национальную идею с воплощением самого христианства в жизни человечества, с осуществлением на земле Царства Божия в образе вселенской теократии. Но именно потому, что Россия была для него только народ Божий, народ мессианский, он отрицал всякие индивидуальные, особенные черты в русском народном характере. Индивидуальное, особенное у него потонуло в абсолютном, универсальном.

А в результате, когда рухнула фантастическая постройка вселенской теократии, от соловьевских характеристик «русской национальной идеи» ничего не осталось. Мы и до сих пор чрезвычайно мало знаем о том, что она такое. Нас слишком долго держали в убеждении, что русский человек — не просто человек с

определенными конкретными чертами расы и народности, а «всечеловек», объемлющий черты всех национальностей, что неизбежно ведет к утрате собственной национальной физиономии. Мы привыкли видеть в России целый мир и начинаем уже поговаривать о том, что нет в ней ничего местного, ибо она не Запад и не Восток, а «Востоко-Запад». Нам тщательно внушали мысль, что Россия — или народ-Мессия, или ничто, что вселенское и истинно русское одно и то же. Когда же рушится эта дерзновенная мечта, мы обыкновенно сразу впадаем в преувеличенное разочарование. Присущий нашему национальному характеру максимализм заставляет нас во всех жизненных вопросах ставить дилемму — «или все, или ничего». Вот почему от чрезмерности возвеличения мы так легко переходим к чрезмерности отчаяния. Или Россия — народ-богоносец, или она — ничтожнейший народ, а может быть, даже и вовсе не народ, а бессмысленный механический конгломерат, колосс на глиняных ногах, который скоро рухнет от внешнего удара (Любимое сравнение Соловьева в минуты отчаяния и гнева.).

От этого разочарования у нас только одно спасение — не поддаваться крайнему и ложному очарованию. Как только мы убедимся, что Россия не тождественна с домом Отца Небесного ни в действительности, ни в идее, мы поймем всю неуместность нашего отчаяния. Россия не осуществила вселенского христианства не потому, что она — ничтожный, презренный народ или «конгломерат», а потому, что в великом и обширном доме Отчем ей суждено занять лишь одну из обителей.

Русское — не тождественно с христианским, а представляет собою чрезвычайно ценную национальную и индивидуальную особенность среди христианства, которая, несомненно, имеет универсальное, вселенское значение. Отрешившись от ложного антихристианского мессианизма, мы неизбежно будем приведены к более христианскому решению национального вопроса. Мы увидим в России не единственный избранный народ, а один из народов, который совместно с другими призван делать великое дело Божие, восполняя свои ценные особенности столь же ценными качествами всех других народов-братьев.

Отрешение от национального мессианства для нас необходимое условие прозрения в наше действительное религиозное призвание.

Наглядное доказательство тому — последний период творчества Соловьева. Именно благодаря крушению его горделивой мечты о третьем Риме у него открылись глаза на индивидуальное, специфическое и вместе бесконечно дорогое в православной и русской религиозности. В пророческом видении «Трех разговоров» он угадал духовный облик России, в кратком, вскользь брошенном намеке он высказал о ней больше, чем в многочисленных сочинениях предыдущей эпохи. В ярком художественном образе он раскрыл то, чего раньше никак не могли схватить ни его, ни чьи-либо другие теории.

В «Трех разговорах» нет и следа «народа-богоносца», а есть вместо того три ветви единого христианского ствола, которые необходимо восполняют друг друга, в равной мере подготавливая пришествие истинного Мессии. Есть христианство Петрово, или римское, христианство Павлово, или протестантство, и христианство Иоанново — православное и русское. Русский народ, олицетворяемый старцем Иоанном, тут не в большей мере народ мессианический, чем Италия, родившая кардинала Симоне Барджони, и Германия, давшая миру профессора Паули. Оставлена дерзостная мысль о том, что великий синтез вселенского христианства будет делом одной России. Этот синтез в «Трех разговорах» осуществляется не каким-либо народом, а всеми народами во Христе, сходящем с неба на землю. А России принадлежит более скромная роль: она осуществляет на земле не объединение всего христианского мира, а только одну необходимую особенность среди христианства. Это — то мистическое христианство, которое олицетворяется образом неумирающего апостола Иоанна, — христианство апокалиптических откровений с его прозрением в тайну воплощенного Слова, в тайну человека, обоженного во Христе и потому уже не могущего умереть. Соловьев по-прежнему думает, что церковь восточная, в отличие от западной, есть церковь предания; но теперь только он видит, в чем жизнь этого предания, в чем заключается то неумирающее, вечное слово, которое должна сказать миру православная Россия. И как просто, естественно и гармонично сочетается мистический образ апостола Иоанна с живой ярко народной фигурой русского старца Иоанна — епископа, живущего на покое!

В этом старце Россия находит свой подлинный огненный язык, который бесстрашно разоблачает тайну беззакония, испытывая

антихриста по способу апостола Иоанна — чрез исповедание воплощенного Слова. И тут же в пророческом предвидении философа возрождается чудо Пятидесятницы. Огненные языки не разделяют народы, а объединяют их. Христианство Петрово, Иоанново и Павлово объединяются в общем исповедании.

Тут есть, как и в Пятидесятнице, утверждение национальных особенностей и вместе с тем преодоление национальных границ, потому что каждая особенность, как национальная, так и вероисповедная, дает свой необходимый вклад в общее христианское дело. В христианстве одинаково необходимы и нужны и «свет с Востока», мистическое прозрение в тайны последнего, запредельного откровения, и волевая, человеческая, римская энергия, и дух свободного исследования протестантской Германии.

Таково предсмертное откровение величайшего представителя русской религиозной мысли. Он наметил тот путь, которым нужно идти, чтобы проникнуть в сущность русской религиозной идеи. Первый шаг в этом направлении должен заключаться в отречении от русского национального мессианизма. Тогда только живые черты нашей национальной физиономии перестанут растворяться в Абсолютном и мы обретем нашу подлинную народную душу. Один и тот же закон действует и в жизни отдельных людей, и в жизни народов. Чтобы сохранить свою душу, народ должен не возлюбить, а возненавидеть ее в мире сем.

## СМЫСЛ ВОЙНЫ

Из всех событий, совершившихся за эти великие исторические дни, самое крупное, бесспорно, тот духовный перелом, который мы пережили.

В первый раз после многих лет мы увидели единую целостную Россию. Такого объединения, какое мы видим теперь, я лично не помню вот уже тридцать семь лет, — с самой турецкой войны 1877 года.

Тогда наше общественное настроение было во многом похоже на теперешнее. Совершенно так же были забыты распри: все объединились в одной мысли, в одном порыве. Когда думаешь о национальном единстве, всегда вспоминаются эти великие минуты, когда оно стало осязаемым, видимым. И всегда хочется верить, что именно в этот преходящий миг раскрылась подлинная наша сущность.

Надолго исчезло это чудесное виденье, надолго скрылся от нас этот возродившийся теперь образ единой России. Она словно распалась на части. Мы видели перед собой враждующие партии, классы, племенные группы; но России мы не видали, не знали, где ее воля, мысль и чувство.

В сопоставлении того, что было, с тем, что есть теперь, открывается одна великая тайна нашего национального бытия. Вот уже второй раз на моей памяти Россия обретает свое духовное единство и целостность в освободительной войне. Именно тогда она исцеляется, когда она, забывая о себе, служит общечеловеческому делу культуры; именно тогда, когда она освобождает других, — она стоит на вершине собственного своего могущества и величия.

Много было причин, почему мы потерпели неудачу в последней японской войне; но главная, кажется мне, заключается в следующем: не было этой сверхнародной цели, которая могла бы собрать Россию в одно целое, заставить жить ее одним чувством; мы сражались только за себя самих, боролись из-за чужой территории... А Россия никогда не вдохновляется служением голому национальному интересу. Особенность русского патриотизма заключается в том, что он никогда не воодушевляется идеей родины, как такой, служением русскому, как

такому. Чтобы отдаться чувству любви к родине, нам нужно знать, чему она служит, какое дело она делает. И нам нужно верить в святость этого дела, нам нужно сознавать его правоту. Нам нужна цель, которая бы поднимала наше народное дело над национальным эгоизмом.

До какой степени национализм чужд русскому патриотизму, сказалось в особенности в различном отношении русского общества к двум вопросам, выдвинутым на очередь в последнее время, — польскому и русско-галицкому. Казалось бы, именно последний должен быть особенно близок нашему народному чувству. А между тем — и в этом заключается особенно типическая черта русского характера — русско-галицкий вопрос доселе остается малопонятным русскому обществу и сравнительно мало его захватывает. Наоборот, воззвание Августейшего Главнокомандующего, поставившее ребром вопрос польский, вызвало всеобщий энтузиазм и необычайный подъем русского национального чувства. Оно еще не определилось по отношению к галичанам, а между тем необходимость восстановить целостность разорванной на части Польши и для него непосредственно очевидна.

Часто объясняют эту русскую черту нашим «беспочвенным идеализмом», «мечтательностью», «непрактичностью» и даже «космополитизмом» — отсутствием здорового национального чувства... а при этом ставят в пример нам немцев...

Теперь, когда этот образец, с которого рабски списывалась наша националистическая программа, столь основательно посрамлен, нам нетрудно ответить на эти обвинения. То, что доселе казалось многим непрактическим идеализмом и «мечтательностью», есть на самом деле здоровое сознание русского национального интереса, тесно связанного со справедливым и человеческим отношением к другим народностям.

К счастью для России, в освобождении других народностей, в особенности народностей славянских, заключается условие не только духовной, но и материальной ее целостности. Единство и целостность России и освобождение родственных славянских народов — вот два лозунга, во имя которых ведется война. Нужно ли доказывать, что оба они составляют одно неразрывное целое! Если родственные нам славянские племена не устоят против напора воинствующего германизма, то не устоит перед ним и Россия. Напротив, если России

суждено оставаться целой и неделимой, то германскому игу над славянами вообще должен быть положен конец. Должна быть восстановлена единая, свободная в своем самоуправлении Польша, должна вырасти великая Сербия, должна создаться независимая Чехия, и должны вырасти за счет Австрии все те национальные государства, которые примкнут к великой освободительной войне. Недаром война началась потому, что в покушении на целость Сербии мы все, — народ и правительство, — почувствовали покушение на целость России.

Такой же кровный наш интерес связывает теперь целость России с целостью Польши, и в этом именно — самая надежная гарантия осуществления польской национальной мечты. Россия, восстанавливающая Польшу, и Польша как оплот России против германизма — вот та связь взаимности, которая теперь объединяет два народа. Нет той силы, которая могла бы порвать эту связь, созданную исторической необходимостью.

А при этих условиях совершенно бесполезно и несвоевременно задаваться теперь вопросом, что, собственно, обещает полякам воззвание Верховного Главнокомандующего и какой строй оно сулит обновленной Польше. Как бы ни были прекрасны те или другие воззвания, все-таки не они определяют смысл и направление событий, а скорее сами определяются их смыслом.

А смысл того, что совершается теперь, тот, что Россия одновременно и освобождает славян, и сама находит оплот в славянстве; а потому было бы безумием предполагать, что она может дать им меньше, чем дают им немцы и австрийцы. Россия требует от поляков, как и от других славян, чтобы они уважали права других народностей, коих связала с ними история. Но не для того она призывает их к единению с собой, чтобы лишить их тех прав самоуправления, коими они пользуются под австрийским владычеством. Поляки и русские должны понять, что это невозможно.

Если мы до сих пор этого не понимали, если мы, увлекаясь ложным национализмом, не сознавали нашего подлинного национального интереса, это обуславливается тем, что доселе мы находились под германским игмом. Только теперь мы его сбросили, но до последнего времени оно тяготело если не над нашей территорией, то над нашей душой, над нашей волей и чувством.

Добрососедские отношения между Россией, с одной стороны, Австрией и Германией, с другой стороны, существовали и поддерживались за счет славянства, и в особенности за счет Польши. Именно содействие в разделе Польши поддерживало согласие: совместная борьба против родственного нам славянского народа — вот что служило источником близости между нами. И близость эта служила интересам Германии и Австрии, а не России. Россию она ослабляла, потому что мешала ей выступить в роли объединительницы славянского мира.

Теперь, когда роль эта навязана России силою вещей, роковым сцеплением исторических событий, мы видим новое наглядное доказательство того единства интересов, которое связывает в одно целое славянские народы, раньше между собою враждовавшие. С одной стороны, Россия никогда не забудет, что поляки, считавшиеся врагами русской государственности, пали в Калише и Ченстохове первыми жертвами за русскую государственность. А с другой стороны, немецкие зверства наглядно показали полякам, что в лице немцев мы имеем непримиримого, заклятого врага, одинаково глубоко презиращего всех славян. Уважения к своему национальному достоинству и признания национальных прав они могут ожидать только от России.

Сверхнародный, сверхпартийный смысл настоящей войны — вот что составляет силу России, славян и их союзников. Не будем же ослаблять себя какими-либо узкопартийными выступлениями и племенными распрями. Будем помнить, что в служении этому смыслу — наше главное превосходство над нашим врагом. Чтобы победить, нужно прежде всего сохранить этот смысл, который объединяет народы вокруг нашего знамени.

## **Национальный вопрос, Константинополь и Святая София.**

Среди вопросов, выдвинутых настоящей войной, вопрос о Константинополе имеет для России особый интерес и важность.

Всеми сторонами нашей жизни мы с ним связаны. Это для нас — вопрос и о нашем хлебе насущном, и обо всем нашем политическом могуществе, и о нашей культурной миссии, о самом духовном я России.

Во-первых, едва ли не три четверти вывозимого нами хлеба проходит через проливы; и, стало быть, вопрос о проливах есть вместе с тем вопрос обо всем экономическом настоящем и будущем России, о возможности для нас других кормить и самим этим питаться, зарабатывать себе самые средства существования.

Во-вторых, с экономическим вопросом неразрывно связан и вопрос обо всем политическом бытии и обо всем политическом могуществе России. Теперь, когда Турция стала чем-то вроде германского швейцара у русского подъезда, вопрос поставлен необыкновенно резко и остро.

Россия должна быть или заперта в проливах враждебной ей силой могущественнейшей мировой державы — Германии и, следовательно, впасть в полную материальную зависимость от нее; или же она должна так или иначе господствовать над проливами, чем создается для нее в свою очередь положение величайшей мировой державы.

Для слабой Турции проливы — непосильное бремя и источник непрестанно возрождающейся внешней опасности. Напротив, для державы могущественной, какую была в древности Византийская империя и каковыми в настоящее время являются Россия и Германия, это — ключ к господству над широкими морями и над еще более обширными землями, их окружающими. Иначе говоря, это — Царьград в полном смысле этого слова. Именно в качестве Царьграда по природе Константинополь был избран в столицы Константином, и именно Царьградом он всегда был для России, в течение всего ее исторического существования.

Наконец, в-третьих, Константинополь — та купель, из которой предки наши приняли крещение, и место нахождения великой православной святыни, которая оказала могущественное определяющее влияние на духовный облик православной России. Я говорю, разумеется, о храме святой Софии, превращенном турками в мечеть. Волею судеб именно с этим храмом связано самое глубокое и ценное, что есть в нашей душе народной, — центральная идея русской религиозности, а по тому самому и религиозная миссия России — та ее евангельская жемчужина, ради которой она должна быть готова отдать все, что имеет. Обладание проливами может оказаться необходимым России как обеспечение ей хлеба насущного, обладание Царьградом — как условие ее государственного могущества и значения. А храм святой Софии выражает для нее тот смысл ее народной жизни, без коего ни богатство народное, ни могущество, ни даже существование нашего народа не может иметь ни малейшей цены — то, ради чего стоит жить России, то, что составляет единственно возможное оправдание ее существования, и то, во имя чего она ведет теперь борьбу не на жизнь, а на смерть против соединенных сил германо-австрийского Запада и турецкого Востока. Все вопросы русской жизни, поднятые настоящей войною, так или иначе завершаются этим одним, центральным вопросом — удастся ли России восстановить поруганный храм и вновь явить миру погашенный турками светоч.

Я говорю здесь, разумеется, не об архитектурно-археологической реставрации софийского храма, а о всеобъемлющей религиозной и культурной задаче. Чтобы понять, что это за задача, надо отдать себе отчет в значении идеи святой Софии в русской религиозности.

В почитании святой Софии в православном вероучении и в особенности в православной иконописи и богослужении есть две одинаково существенные черты, которые для поверхностного взгляда могут показаться противоречивыми. С одной стороны, София — та вечная Премудрость, которою Бог сотворил мир, и притом не какую-либо часть мира, не какой-либо план бытия, а весь мир горний и земной: в церковном песнопении в начале всеобщего бдения так и говорится: «вся Премудростию сотворил еси»; с другой стороны, наше православное благочестие всегда видит Софию в человеческом образе. Человечность Премудрости Божией — вот самое парадоксальное и

самое своеобразное, что только есть в идее св. Софии; но вместе с тем это — и самое глубокое в ней, то самое, что сообщает ей центральное значение в православном и, в частности, в русском религиозном понимании.

Бог в Премудрости Своей сотворил весь мир; это значит, что в Премудрости Своей Бог от века провидел и предначертал всю тварь небесную и земную; из этого следует, что «София» есть тот мир вечных идей или первообразов, которые были положены Богом в основу творения. Так и понимали «Премудрость» отцы Церкви, напр. Ориген и Августин. Первообразы эти не следует смешивать с тварью, как она есть в своем нынешнем, несовершенном виде: это — тварь в совершенной и окончательной своей форме, — тварь, как она должна быть в вечности, — тварь, какой ее хочет Бог. Это — Божья мысль и вместе Божья воля о твари. Над каждым немощным, грешным и страждущим сотворенным существом Бог от века провидит тот прекрасный, совершенный его образ, ту идею, которая должна раскрыться в нем. В совокупности своей весь мир идей о сотворенном и есть «София». Это не отвлеченное понятие или умопредставление, а вечная реальность в Боге. Эти вечные первообразы, в которых Бог от века созерцает все, этот предвечный замысел Божий о твари — бесконечно ярче, красочнее, живее и реальнее всех тех бледных, несовершенных отражений этого замысла, которые мы находим здесь, в нашей действительности и жизни.

В образе Софии наше религиозное благочестие видит весь мир — не нынешний, а грядущий мир, каким он должен быть увековечен в Боге; но в высшей своей форме этот мир — человечен.

В замысле Божиим о мире человек есть центр: все создается ради него; все приводится к нему: человек и есть образ Божий в собственном смысле, — и вот почему Премудрость Божия — человечна. В этом и заключается разрешение отмеченного только что парадокса: с одной стороны, в Софии — весь мир, а с другой стороны, высшее религиозное вдохновение воспринимает ее в виде человеческого женственного образа сидящую на престоле. Именно такую изображает Софию величайший из русских ее поэтов и философов.

И в пурпуре небесного блистанья  
Очами, полными лазурного огня,

Глядела ты, как первое сиянье  
Всемирного и творческого дня.  
Что есть, что было, что грядет вовеки —  
Все обнял тут один недвижный взор;  
Синеют предо мной моря, и реки,  
И дальний лес, и выси снежных гор.  
Все видел я, и все одно лишь было,  
Один лишь образ женской красоты,  
Безмерное в его размер входило  
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

Как вечный замысел Божий, София объемлет собою весь мир, связанный как целое единой мыслью, единым Духом Божиим, поэтому и человеческий образ ее выражает собою не какое-либо отдельное человеческое лицо и не внешнюю механическую совокупность. — Мы имеем здесь все человечество, собранное во единое живое существо; и тут находит себе применение вещее слово поэта о Софии: «все видел я, и все одно лишь было».

Не первый Соловьев так выразил виденье Софии. Совершенно в том же образе созерцали ее наши отдаленные предки, принявшие от греков христианскую веру. Уже самый факт повсеместного построения храмов святой Софии в Древней Руси тотчас по обращении ее из язычества свидетельствует о том, что мы имеем здесь центральное религиозное представление, которое для русского религиозного сознания представляет совершенно исключительную ценность. — Каково содержание этого представления, об этом мы узнаем преимущественно из памятников древней русской иконописи. В особенности яркими и типичными представляются те изображения Софии, которые мы находим в Софийском храме в Новгороде и в Москве — на наружной стенописи Успенского собора.

Об этом да будет мне позволено рассказать красноречивыми словами Владимира Соловьева.

«Посреди главного образа в старом новгородском соборе (времен Ярослава Мудрого) мы видим своеобразную женскую фигуру в царском одеянии. По обе стороны от нее, лицом к ней и в склоненном положении, справа — Богородица византийского типа, слева — Иоанн Креститель; над сидящею на престоле поднимается Христос с воздетыми руками, а над ним виден небесный мир в лице нескольких

ангелов, окружающих Слово Божие, представленное под видом книги — Евангелия».

Нельзя не согласиться с Соловьевым, что это великое царственное и женственное существо изображает собою не что иное, как истинное и полное человечество. В самом деле, в изображении оно противопоставляется и Сыну Божию, и ангелам, и Богоматери, ибо от нее оно приемлет почитание.

Если оно при этом называется «Софией», или Премудростью Божией, то, очевидно, потому, что оно выражает собою замысел Божий о человечестве, а через человечество — и о всем мире.

Человечество, собранное Духом Божиим в одно целое и в этом виде обоженное, — вот высшее выражение замысла Божия о мире, вот что должно царствовать в мире. Таков смысл этого образа св. Софии, сидящей на престоле.

Отсюда ясно, почему в христианском жизнепонимании наших предков этот образ имел столь центральное, определяющее значение. Человечность божества — вот что им дорого в их представлении о «Софии». Заметим, что эта черта выражается не только в этом представлении: она проникает собою насквозь все религиозное настроение православия и особенно ярко выражается в стенописи православных храмов. В них молящийся приходит в соприкосновение не с пустым и абстрактным абсолютным, а с целым миром, густо населенным живыми образами, с миром Божеским и человеческим в одно и то же время.

Со всех сторон он смотрит на молящихся мириадами человеческих очей. И среди этого богочеловеческого мира София — Премудрость — не может не занимать центрального места. Совершенно естественно она определяет самую сущность религиозного настроения. Ибо для религиозного чувства не может быть ничего важнее и ценнее веры в человечность Божественной Премудрости и в возможность для человека стать сосудом Божественного.

Отсюда видно, какой призыв и какой религиозный идеал заключается в этом чудесном имени «София». — Это — призыв к осуществлению вечного первообраза всей твари, а стало быть, прежде всего — к осуществлению того совершенного, целостного и чистого человечества, которое древние иконописцы — греческие и русские —

видели сидящим на престоле, того человечества, которое достойно быть увековеченным и достойно царствовать над тварью.

Нынешнее человечество разорвано и раздроблено. Собственно, единого человечества в нашей действительности нет вовсе: есть оторванные друг от друга, замкнувшиеся в своем эгоизме личности, взаимно враждебные и пожирающие друг друга народы, разрозненные и проклинающие друг друга исповедания и религиозные общины. Человечество греховно и потому мертво; но духовидцы, писавшие Софию, видели его святым и по тому самому бессмертным, единым и целостным. Восстановление поврежденной целостности человечества и всей твари — вот к чему горело у них сердце.

Но восстановление целостности распавшегося живого целого есть то же, что преодоление смерти, воскресение, и именно эта благая весть связывается в религиозном почитании с образом Софии. Распадение живого целого на части есть то же, что смерть; напротив — восстановление живой связи распавшегося целого есть то же, что воскрешение. Если София собирает все человечество и весь мир в одно живое целое — это значит, что она воскрешает. Только представив себе конкретно это живое человекообразное существо, сидящее на престоле, мы проникнем в тот глубокий жизненный смысл, который оно собой олицетворяет. Я повторяю, то, что наша иконопись видит в Софии, не есть отвлеченное понятие; это — не абстрактное единство человеческого рода, а живой духовный организм — собор существ, связанных Духом Божиим в одно живое существо. У каждого человеческого индивида и у каждого народа в Софии есть своя особая индивидуальная идея, свой особый престол и венец, своя обитель и своя слава. Ведь именно о ней сказано в Евангелии: «*в доме отца моего обителей много*» ([Ин. 14:2](#)); но в этих обителях Премудрости все живы, ибо она выражает собою единую совершенную жизнь, наполняющую всех, и все призваны царствовать, ибо в ее лице восседает на престоле весь собор человеческих существ, напоенных одним и тем же Духом Божиим.

Неудивительно, что с образом св. Софии наша народная душа всегда исстари связывала величайшую свою надежду и величайшую свою радость. И напрасно было бы думать, что глубина сокрытой в нем мысли доступна только людям развитым и образованным. Как раз наоборот — именно для людей высокообразованных она чаще всего

служит камнем преткновения. Гораздо ближе она к нашему народному жизнепониманию. Доказательством да послужат следующие мои личные воспоминания. Четыре года тому назад я возвращался в Россию из далекого заграничного путешествия через Константинополь.

Утром в мечети св. Софии мне показывали на стене следы кровавой пятерни султана, залившего христианской кровью этот величайший из православных храмов в день взятия Константинополя. Перебив молящихся, искавших там убежища, он вытер руку о колонну, и этот кровавый след показывается там до сих пор. Тотчас после этого осмотра я очутился на палубе русского парохода, шедшего в Одессу из Палестины, и сразу почувствовал себя в родной атмосфере.

На той же палубе собралась тысячная толпа русских крестьян — богомольцев, возвращавшихся из святой земли на родину. Истомленные долгим странствованием, плохо одетые и полуголодные, они запивали водою черствый хлеб, проделывали тут же кое-какие будничные подробности незамысловатого туалета и слушали полулежа рассказы про Константинополь, про его храмы, слышали, конечно, и про кровавого султана, и про реки христианской крови, которые вот уже пять с лишком веков периодически льются в этом когда-то христианском царстве.

Не могу передать, до чего я был взволнован этим зрелищем. Я видел родину в Константинополе. Там на горе из глаз моих только что скрылась освещенная солнцем святая София, а теперь передо мной на палубе — русская деревня. И вот когда пароход наш тихо тронулся вдоль Босфора с его мечетями и минаретами — вся толпа твердо и торжественно, но почему-то вполголоса запела «Христос воскрес».

Какой глубокий многовековой инстинкт послышался в этом пении, и сколько в нем сказалось душевного такта. Какой другой ответ мог найтись в их душе на то, что они слышали об этом храме, о турках, его осквернивших, и о их многовековом мучительстве по отношению к подвластным племенам — кроме радости всеобщего воскресения для всех людей и для всех народов! Я не знаю, был ли этот ответ сознательным; для меня неважно, думали или не думали при этом крестьяне о самом храме святой Софии: важно то, что в их пенье подлинная София выразилась так, как ни один философ или богослов не мог бы ее выразить! Крестьяне, певшие «Христос воскрес», едва

ли могли бы толково рассказать о ней или высказать ее сущность в понятиях. Но в их религиозном переживании было то, что неизмеримо больше и глубже всякого понятия: над звериным турецким царством, где льется кровь подвластных народов, их духовный взор провидел единое человечество, собранное вместе любовью в радости светлого Христова Воскресения; но вместе с тем они почувствовали, что эту несбывшуюся еще радость, эту надежду, которая веками живет в душе народной, теперь, в центре турецкого владычества, можно выразить только вполголоса. Ибо доколе не упразднено это владычество и связанные с ним нравы — София еще далеко от нас: она — в другой, высшей сфере, в другом плане бытия. Придет время, когда небо сойдет на землю, и предвечный замысел о человечестве осуществится. Тогда громко и властно прозвучит тот гимн, который пока поется вполголоса.

Едва ли нужны другие доказательства того, что София живет и действует в нашей народной душе. Мы, мыслящие люди, много читаем о Софии, много о ней пишем и размышляем. Но чтобы видеть и осязать ее действие, нужно переживать то, что переживали и о чем пели те крестьяне на пароходе.

## II

Таков религиозный смысл воздвигнутого в Константинополе храма. Он делает понятной как историческую судьбу этой святыни, так и связь ее с судьбами России.

Не случайно то, что храм св. Софии выстроен именно в Константинополе: по мысли Константина, этот город олицетворяет собою второй — христианский — Рим в противоположность первому — языческому. Если первый, языческий Рим властвовал над народами во имя свое, то «город Константина», по мысли его основателя, должен был положить в основу своего владычества объединение народов во Христе и через церковь. В таком городе человечество, собранное воедино Премудростью во Христе и во имя Христово царствующее, выражает собою самый смысл и оправдание властвования. В этом центре, где скрещиваются пути многих племен и народов, София выражает именно то, что должно их объединять и служить началом их общего царства. Неудивительно, что здесь идея святой Софии органически срослась с местностью. Идея эта — то самое, во имя чего должен был владычествовать Константинополь. По-видимому, так и понимал смысл храма св. Софии его строитель — Юстиниан:

известно, что этот храм был построен в 532—537 гг. в память об усмирении бунта, во время которого этот император едва не лишился престола. Сооружением этого храма и его посвящением Юстиниан, очевидно, хотел показать, что именно в Софии он видит незыблемое основание своего царствования. Это делает в высокой степени вероятным, что оригинальное греческое изображение Софии было весьма похоже на новгородскую престольную икону. Царственный облик Софии, сидящей на престоле с камнем под ногами, как нельзя более ясно выражает собою эту мысль о твердом христианском основании и о христианском принципе царства.

В действительности Византийская империя, христианская только по имени, языческая по своей жизни, не только не осуществляла этого христианского своего начала, исповеданного Юстинианом, но находилась в полном с ним противоречии. И в этом заключается объяснение дальнейшей исторической судьбы константинопольской святыни — утраты ее греками и завоевания ее турками.

Если бы в пятнадцатом веке у христианских народов горело сердце к св. Софии, народы, собранные ею во Христе, конечно, составляли бы одно живое и великое целое. Плотным кольцом они окружили бы Константинополь и не допустили бы туда турецкие рати. Храм св. Софии мог превратиться в турецкую мечеть только потому, что христианская империя утратила свое духовное оправдание и подлинная София не жила в христианских душах. Тут утрата материальная была лишь внешним выражением утраты идейной, духовной.

Когда в растленной Византии  
Угас Божественный алтарь,  
И отреклись от Мессии  
Народ и князь, иерей и царь,  
Тогда поднялся от востока  
Народ безвестный и чужой,  
И под ударом тяжким рока  
Во прах склонился Рим второй.

Дальнейшая судьба софийского храма также полна глубокого символического смысла. Завладевши христианской святыней, турки, разумеется, не могли упразднить той вечной правды, которую она собою выражала: подлинная св. София-Премудрость Божия осталась

все та же, ибо не изменил Бог Своего замысла о человечестве и твари; но только этот замысел на время скрылся от недостойных человеческих глаз. София ушла от них в какую-то запредельную область, в какой-то невидимый нам план бытия, откуда она вновь явится и заблестит на земле вечной своею славою, когда народится в мире новое человечество, достойное стать ее выразителем и носителем. Символически эта судьба религиозной идеи выразилась в замечательном внешнем факте: иконоборцы-турки не разрушили софийского храма, а только покрыли тонким слоем штукатурки христианские мозаичные изображения на его стенах. — И в числе этих изображений лик св. Софии остается замазанным, доколе не завладеет Константинополем новый христианский народ, который снимет с нее эту турецкую замазку. Но этот подвиг станет возможным только тогда, когда у христиан вновь возгорится сердце к св. Софии; соответственно с этим он налагает великую обязанность и великую историческую ответственность на того, кто его совершит. Христианский народ, который завладеет Царьградом, должен иметь в душе своей то, во имя чего с лика св. Софии может быть снята турецкая замазка; тем самым он берет на себя обязательство вновь возжечь погашенный турками светильник. Ему недостаточно вновь сделать доступным созерцанию лик ев. Софии: он должен явить ее в своих делах: только тот имеет право завладеть Константинополем, кто предварительно овладеет этим духовным его смыслом.

Сознание этой связи между внешним фактом господства над Царьградом и внутренним его смыслом выразилось в очень древнем нашем национальном и церковном предании. Есть известное сказание о нападении на Царьград языческой Руси при Аскольде и Дире. Тогда патриарх с молитвой погрузил в волны ризу Богоматери, и Владычица защитила город: поднялась буря и разметала по морю русские ладьи. Замечательно, что это событие, наряду с отражением других языческих орд от Царь-града, увековечено особым церковным песнопением — «Взбранной Воеводе победительная» — самым радостным изо всех, какие поются у нас на всенощном бдении. — Признаюсь, что смысл этого песнопения был для меня долго непонятен: я недоумевал, как может русская Церковь, которая непрестанно молится о ниспослании победы нашему христоролюбивому воинству, радоваться тому, что некогда русская рать, направлявшаяся к

Константинополю, была потоплена. И только недавно я почувствовал, какая возвышенная любовь к России выражается в этой молитве.

Церковь радуется тому, что высшая чудодейственная сила не допустила нас завладеть Царьградом, пока Русь была языческой ордой: этим Россия была спасена от осквернения той самой святыни, которой она призвана служить.

Впоследствии та же самая святыня иначе защитила столицу Византии от русских нападений: она прикрепила к ней Русь внутренними духовными узами. После принятия крещения связь России со святой Софией выразилась в повсеместном сооружении храмов св. Софии в древних русских городах. Впоследствии идейная преемственная связь между нами и греками выразилась, между прочим, в том, что только русское благочестие сохранило в целостности высшее создание греческого религиозного гения. О том внутреннем духовном содержании, которое некогда выражал собой софийский храм в Константинополе, можно судить почти исключительно по русским его воспроизведениям. В особенности образ св. Софии в новгородском соборе, наружная стенопись Успенского собора в Москве и еще некоторые древнерусские изображения дают возможность догадываться о том, что скрывается под турецкою штукатуркою в Софийской мечети. Духовно и материально заслуга России выразилась в самом сохранении образа св. Софии в религиозном сознании и в живописи. В связи с этим в русском народном сознании сохранился и образ христианского царства, каким оно должно быть. Эта религиозно-политическая идея, как известно, пережила падение Константинополя и сочеталась с мечтою о московском третьем Риме, который должен заменить собою павший второй Рим. Тут образовалось то смешение истинного и ложного, вселенского христианства и языческого национализма, которое еще и до сих пор можно наблюдать в русском религиозном сознании.

С одной стороны, падение Константинополя дало сильный толчок русской религиозной мысли: оно пробудило в русских людях сознание выпавшей на долю России религиозной миссии, унаследованной от Византии. С другой стороны, оно же вызвало в русском обществе то самомнение, ту национальную гордость, которая является наиболее опасным врагом всякого религиозного призвания и подвига.

Сознание религиозного призвания выразилось в глубокомысленных и поэтических сказаниях о бегстве святых и святынь из павших центров древнего благочестия в Москву. Таковы, напр., сложившиеся в XV-XVI вв. сказания о приплытии преподобного Антония римлянина на камне со святынями в Новгород и о чудесном переселении чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери с византийского Востока на Русь (См. В.О. Ключевский. Курс русской истории, т. III; 377—378.). Само собою разумеется, что подобные сказания будили веру в русский народ и звучали для него как бодрящий призыв к подвигу — к деятельному служению святыням, отныне нашедшим себе убежище в России. Но, к сожалению, это сознание близости святыни, которое должно было прежде всего побуждать к усовершенствованию, затмевалось горделивою мечтою о совершенстве, уже достигнутом Россией, и о превосходстве ее над другими народами. По словам В.О. Ключевского, «органический порок древнерусского церковного общества состоял в том, что оно считало себя единственным истинно правоверным в мире, свое понимание Божества исключительно правильным. Творца вселенной представляло своим собственным русским Богом, никому более не принадлежащим и неведомым, свою поместную Церковь ставило на место вселенской» (Там же, 383.).

Борьба этих двух противоположных течений — вселенски-христианского и националистическо-языческого — продолжается в нашем народном сознании до сего времени. И от того, какое из этих двух начал победит в русской душе, всецело зависит осуществление Россией той миссии, которая выражается в идее св. Софии.

Национализм не только противоположен этой идее в корне и в существе: он представляет собою прямое восстание против нее, деятельное ее отрицание. В самом деле, в Софии все племена земные собраны в одно целое человечество: в ней не только все люди — все народы призваны совместно царствовать. В образе Софии открывается тот самый замысел Божий о человечестве, который обнаружился в Пятидесятнице: там собрались в Иерусалиме все народы под небесами и каждый из них воспринимал язык апостолов как свой собственный, родной. Это самое единство всех языков в замысле Божиим воспринимается религиозным сознанием и в Софии. Как раз наоборот, национализм представляет собою именно отрицание этого всеединства

человечества, ибо он утверждает один народ против всех. Совершенное осуществление св. Софии на земле есть то же, что полное преобразование всего земного, окончательная победа над грехом и смертью и всеобщее светлое воскресение во Христе. Ясно, что полное раскрытие этой святости не вмещается в пределы нашего здешнего земного существования. Стало быть, в здешнем человечестве возможно лишь несовершенное, частичное обнаружение «Софии» — лишь некоторый отблеск будущей ее славы. Но даже для осуществления этого несовершенного ее отблеска в жизни народов от них требуется великий подвиг и высокий подъем духовный. В особенности одно неперемное условие должен выполнить народ, который в «Софии» утверждает свое религиозное служение и миссию. Он должен делом показать, что он действительно носит в душе своей единое, царствующее во Христе человечество, ибо в этом и заключается то первое, основное, о чем говорит нам образ Софии.

Братоубийственный раздор народов, живущих по закону звериному, — вот что делает невозможным это видение единого человечества, объединенного в Боге. Национализм есть то первое и основное, что препятствует Софии явиться в жизни народов. Поэтому отрешение от национализма есть то необходимое отрицательное условие, без коего служение народа Софии представляется совершенно невозможным.

С этой точки зрения получают яркое освещение судьбы св. Софии в Константинополе и связанные с нею исторические судьбы России: исторически несомненно, что разрешение вопроса о проливах для России неразрывно связано с двумя другими вопросами: с разрешением ее освободительной задачи по отношению к другим народам и с разрешением целого ряда национальных вопросов в ее собственных пределах. Замечательно, что эти вопросы ставятся перед нами всегда одновременно и всегда в связи один с другим. Наши освободительные войны с Турцией всегда ставят вопрос о завладении Константинополем, так как, только завладев им, можно окончательно сокрушить господство турок над христианскими народами; поэтому, как только жизнь навязывает нам какую-либо освободительную задачу, перед нами, как отдаленная цель, уже мелькает купол святой Софии; но, с другой стороны, и то окончательное сокрушение турецкого владычества, которое выражается во взятии Константинополя,

возможно лишь через освобождение христианских народов. Связь вопроса о Константинополе с такими национальными вопросами, как болгарский, сербский, греческий и армянский, слишком очевидная, чтобы о ней нужно было здесь распространяться. Но этого мало — мировые события второй половины девятнадцатого века и первой половины двадцатого столетия обнаружили связь вопроса о Константинополе с национальным вопросом в мировом его объеме и значении.

В 1878 году наш путь в Константинополь лежал через Болгарию. Почему же нам не было дано его довершить? Ведь русская армия стояла у ворот Константинополя! Что же помешало ей туда войти? Если мы вникнем в природу тех препятствий, которые задержали нам победоносное шествие, мы убедимся, что они сводятся, главным образом, к одному — к недостаточно широкой постановке нами национального вопроса.

Нас остановила, конечно, не угроза английского флота, прорвавшегося в Дарданеллы: ведь тогда Англия не обладала достаточной армией для борьбы с нами; угроза австрийского движения в тыл нашей армии, без сомнения, единственная, которая в то время могла представлять для нас действительную опасность. Но если мы взглядем в природу этой опасности, мы без труда убедимся в том, что она создана всецело нашими роковыми ошибками, и в особенности — нашим участием в разделе Польши. Если бы Россия была центром тяготения всего славянского мира, если бы в 1877 году все славяне, как южные, так и западные, ждали вместе с болгарам от России освобождения, то ни о какой австрийской опасности для нас не могло бы быть речи: никакое сопротивление со стороны Австрии не было бы возможно. Вся сила Австрии держится единственно расколом и раздором среди славянских народов; прекращение этого раздора для Австрии — смертный приговор.

И отсюда ясно, что наше соучастие в разделе Польши — одно из главных препятствий, помешавших России вступить в Константинополь. В 1878 году, после берлинского трактата, стало очевидно, что наш путь в Константинополь лежит через Австрию и Германию и что для нанесения Австрии смертельного удара Россия должна восстановить национальное единство Польши и примириться с нею.

Таким образом, между такими, казалось бы, отдаленными друг от друга и с первого взгляда несродными друг с другом целями, как взятие Константинополя и возрождение Польши, существует, несомненно, логическая и жизненная, историческая связь.

Но вопрос польский в данном случае является не более как отдельным штрихом в величественной мировой картине. События настоящей войны доказали как нельзя более ясно, что теперь вопрос о Константинополе может быть поставлен лишь в связи с широкой постановкой национального вопроса в его общеевропейском объеме. Как в 1877 году на нашем пути к Константинополю лежала Болгария, так же точно теперь на этом пути нам не миновать Армении, которая также не может быть оставлена под турецким владычеством, ибо для армян это владычество означает периодически повторяющуюся резню. Но этого мало: Константинополь в настоящее время является одним из мировых центров союза тех народов-хищников, которые живут эксплуатацией и поглощением других народов.

Вопрос о Константинополе ставится теперь в связи со всеобщим восстанием народов против этого союза угнетателей — Германии, Австро-Венгрии и Турции; и только успех этого восстания сможет открыть России дорогу в Константинополь; не только возрождение Польши, не только освобождение Армении и защита Сербии ставится нам теперь как условие. Возможно, что для той же цели нам придется содействовать национальным стремлениям Румынии, Греции и Италии, способствовать восстановлению национальной целостности Болгарии. А со стороны наших союзников нам ставится как неременное условие — содействие освобождению Бельгии, без чего самое заключение мира с Германией не представляется возможным, а также, по всей вероятности, восстановление национального единства Франции через воссоединение с нею Эльзаса и Лотарингии. Едва ли найдется теперь одна такая европейская нация, которая не была бы прямо или косвенно задета вопросом о Константинополе. И теперь, когда решение этого вопроса поставлено на очередь, — весь мир предъявляет нам свои условия, которые в общем сводятся к одному-единственному. Народам поработанным мы должны возвратить их родину; другим, которым угрожает порабощение, требуют от нас заступления и помощи.

Только в качестве всеобщей освободительницы малых народов и заступницы за них Россия может завладеть Константинополем и проливами. Этот акт мыслим лишь как завершение всеобщего освободительного движения народов: только во имя этого всемирного освобождения Россия имеет право венчаться венцом Царьграда — иначе народы не примирятся с ее владычеством в Константинополе и тотчас восстанут против него, если он хотя бы временно осуществится.

Оно и понятно! В руках слабой Турции Константинополь перестал быть угрозой безопасности соседей; но в руках могущественной державы он открывает возможность господства на мировой арене столь широкой, как никакой другой географический центр в мире. Город, обладание коим может превратить Черное море в русское озеро, сделать Россию великой средиземной державой, дать ей господствующее положение по отношению к Балканскому полуострову, Малой Азии и всей вообще восточной части Средиземного моря, есть воистину Царьград. Понятно, что такое могущество в руках России внушает страх народам; понятно поэтому и то, что народы могут примириться с ним только при одном условии — Россия должна сделать что-нибудь, чтобы страх сменился доверием.

От русской империи, утвердившейся в Константинополе, они не должны опасаться порабощения и поглощения; наоборот, она должна представляться им силою дружественною, могущественной покровительницей и защитницей их независимости. Воистину ужасна и для всех невыносима мысль о том, что Константинополь может очутиться в руках народа-хищника, который напомнит Германию, а может быть, и превзойдет ее своими деспотическими наклонностями по отношению к другим народам. Одной этой мысли было бы достаточно, чтобы вызвать против такого народа не только всеобщее возмущение, но и всеобщее восстание, всемирную коалицию, к которой примкнули бы и малые и великие державы. В этом и заключается основание отмеченной мною исторической связи между вопросом о Константинополе и постановкой национального вопроса в его мировом значении. Одно из двух — или наше владычество в Константинополе действительно будет служить великому делу освобождения народов, или оно вовсе не осуществится. Россия может прийти в Константинополь только во главе всемирного

освободительного движения народов. И только в качестве державы-освободительницы она может в нем оставаться.

Тут мы имеем разительное доказательство значения идей в истории. Не для узконациональной эгоистической цели, а только во имя сверхнародного, общечеловеческого смысла Россия может получить в свое обладание Царьград и проливы. Для этого она должна победить в себе свой национальный эгоизм и явить в себе духовную силу, высшую по сравнению с теми народами, против которых она борется, ибо Царьград неотделим от идеи христианского царства; в силу своего центрального, господствующего положения он служит средоточием разнообразных страхов и надежд народов. Так или иначе, он должен послужить не деспотическому господству одного народа над другими, а всему миру, всему человечеству. Русский Царьград мыслим лишь как центр, вокруг которого группируются свободные народы: иначе он обречен на гибель. Ибо с того момента, когда он начнет угрожать независимости своих соседей, общая для всех опасность вызовет и всеобщую коалицию, которая может привести к роковому, трагическому для нас концу.

Такова связь вопроса о Царьграде с освободительной миссией России. Но эта освободительная миссия представляет собой одну лишь сторону той более широкой культурной и общественной задачи, которая в русском религиозном сознании связывается с образом Софии. Сама по себе свобода человека или народа не есть цель, а средство; только вера в безусловное, царственное достоинство человека сообщает смысл освободительной борьбе, и в частности — освободительным войнам. — Но именно этот царственный венец человека и человечества и есть то, что наше религиозное сознание находит и утверждает в Софии. Этот вечный замысел Божий о человеке и о человечестве и есть то самое, во имя чего человек достоин быть свободным.

Осуществление свободы во взаимных отношениях людей и народов еще не есть осуществление Софии, ибо освободить еще не значит внутренне объединить. Освобожденные народы могут оставаться внутренне чужды друг другу; они могут пользоваться своей свободой как для добра, так и для зла. И, стало быть, в своей жизни они могут быть бесконечно далеки от того первообраза единого,

целостного и совершенного человечества, который носится перед религиозным сознанием во образе Софии.

И тем не менее нетрудно понять — почему в народном служении Софии борьба за освобождение народов является непременным условием, необходимой, хотя бы и низшей, предварительной ступенью.

«София» есть образ Божий в человеке и в человечестве. Кто носит в душе своей этот царственный образ, кто видит его в каждом человеке и в каждом народе, тот не выносит никакого умаления человеческого достоинства: всякое глумление и издевательство над человеком или над народом, — всякое порабощение его и всякая жестокость, избличающая непризнание его духовной личности, вызывает в душе, преданной Софии, праведный гнев и великую любовь, великую готовность жертвовать собою для других. Если в нас живут эти два чувства, если ради них Россия терпит великие страдания и совершает великие подвиги — в этом первый признак того, что в душе своей она воздвигла алтарь Софии; и в этом — некоторое основание надеяться, что ее усилия — восстановить этот алтарь и сделать его явным перед лицом всего мира в Царьграде — увенчаются успехом.

Для овладения Константинополем и его святыней от русского народа требуются не только великие подвиги и жертвы: для этого нужно еще и некоторое внутреннее духовное очищение. Полное устранение противоречий между нашей жизнью и тем образом Божиим, которому мы служим, разумеется, невозможно. Но для того, чтобы России было дано прославить лик св. Софии, — явить его не только самой себе, но и другим, — от нее требуется некоторый внутренний сдвиг, направленный к устранению противоречия. Совершается ли он в нашей жизни?

Говорить об очищении уже совершившемся было бы безумною и преступной гордостью; но есть некоторые указания на то, что оно начинает совершаться. Во всяком случае, в некоторых отношениях есть заметная разница между Россией современной и той, которая в 1878 году остановилась у ворот Царьграда. Та Россия находилась во власти двух смертельных врагов образа Божия в человеке — зверообразного национализма и кабака. Теперь, слава Богу, мы находимся на пути к освобождению от этих двух тиранов.

В прошлом году у нас было одно хорошее душевное движение. Устами присяжных заседателей русская народная совесть смыла с себя тяжкий грех человеконенавистничества. Недаром весть об этом великом акте правосудия вызывала радостные слезы; недаром знакомые, сообщая радостную весть один другому, целовались и поздравляли друг друга. Россия торжественно признала человеческое достоинство народа, родившего Христа, почувствовала его человеческую душу. И вот почему приговор присяжных для нее самой прозвучал как оправдание: в нем она нашла свое духовное омовение.

Прошел год, и мы совершили еще шаг в том же направлении. Русская народная совесть осудила свой исторический грех по отношению к братскому народу: в дни духовного подъема освободительной войны раздались вдохновенные слова Верховного Главнокомандующего, призвавшего Россию воскресить растерзанное на части тело Польши. В 1878 году мы упустили это сделать: принесли дар свой к алтарю св. Софии, мы забыли, что возлагающий дар свой на алтарь должен сначала примириться с братом своим, и дар наш был отвергнут. И вот теперь, когда мы сделали шаг к примирению и пролили нашу кровь за Польшу, будем надеяться, что он будет принят.

И наконец, еще третий, великий сдвиг в народной жизни. Россия перестала пить. Прежде в праздничные дни на площадях и улицах господствовал образ звериный: слышались дикие, нечеловеческие крики, совершались оргии, из коих рождались преступления, и на пьянстве народном основывался самый наш бюджет. Как могла пьяная Россия взяться за великий подвиг религиозного служения!

К великому нашему счастью, и от этого зла избавил Бог Россию. Пьяных мы поприбрали, кабаки мы закрыли, а пьяный бюджет, осужденный с высоты престола, провалился навсегда!

Но все это, конечно, лишь капля в море по сравнению с тем, к чему обязывает Россию ее великое служение. Кто созерцает хоть издали Софию как цель своего странствования, тот, естественно, смотрит на нее с чувством человека, который не имеет одежды, чтобы войти в чертог брачный.

И все-таки душа полна надежды, что рано или поздно мы овладеем нашей святыней. И в этой надежде утверждает нас все то, что мы слышим о великих подвигах на поле брани. Один видный общественный деятель, недавно вернувшийся в Москву из Галиции и

Польши, так передавал мне свои впечатления. «Если вы сомневаетесь в России, уезжайте из тыла армии и ступайте в окопы. Там не сомневаются. Там нет ни генералов, ни офицеров, ни солдат. Там есть только серая толпа мужиков, одинаково одетых, одинаково бодрых и одинаково готовых умереть за то, что свято».

Мой собеседник был прав. Перед лицом смерти люди, конечно, бесконечно глубже нас чувствуют все то, за что стоит жить и умереть. И то великое, что объединяет в одно целое народную Россию, там выступает бесконечно живее, ярче и нагляднее, чем у нас. Там становится явною для всех та святыня, ради которой люди могут не есть, не пить, переходить по горло в воде обледеневшие реки, жертвовать жизнью и одерживать победы духа над германской техникой. И мы знаем, какова та святыня, которая совершает эти чудеса. Когда представляешь себе эту многомиллионную серую массу, становится ясным, что святыня эта у всех одна — та самая, о которой пели русские крестьяне в Босфоре у преддверия св. Софии.

Рано или поздно эта песнь раздастся в самом храме. Сама св. София, живая в душе народной, приведет туда русские рати. Тогда гимн светлого Христова воскресенья возвестит великий праздник освобождения народов.

## Война и мировая задача России.

Кто хочет отдать себе отчет в значении народного настроения для армии, тот пусть сравнит настоящую войну с предшествующею русско-японскою войною.

Основное различие в настроении совершенно соответствует и основному различию в ходе событий. В дни японской войны нам не доставало в особенности воли победить, и нас побеждали. Никто не верил в победу, более того, немногие верили в ее смысл, многие сомневались в желательности ее для России. И не было необходимой огневой энергии в стремлении к ней. Это настроение не могло не передаться от народа в армию. Тут оно нашло себе яркое олицетворение в полководце, который каждым жестом своим изобличал отсутствие воли победить и недостаток веры в победу; и в этом заключалась едва ли не главная причина его поражений. Сколько раз победа сама давалась ему в руки, но ускользала от него потому, что он ее не брал, потому, что ему не доставало необходимого волевого импульса для ее довершения. Маловерие — вот что вырывало у него из рук успех, столько раз близкий и возможный. Поражение его армии в конце концов оказалось поражением народа, не в достаточной мере хотевшего, а потому и не могшего победить.

Так же сильно чувствуется единство народа и армии в нынешнюю войну, но с той только разницей, что на этот раз оно служит на пользу как народу, так и армии. Не болезненный паралич воли, а, как раз наоборот, доведенная до крайнего напряжения воля победить составляет характерную черту нынешнего общественного настроения. Кто из нас не хочет победы, кто из нас не жаждет ее всеми силами души и кто из нас в нее не верит? Правда, и среди нас подчас встречаются скептики; но когда приходится разговаривать с ними, всегда кажется, точно они спорят нарочно, чтобы вызвать возражения и заставить убеждать себя в том самом, во что и им хочется верить, — в неизбежности нашей победы. Сомнение остается на поверхности сознания: в глубине души всякий убежден, что именно нам достанется победа, полная и блестящая. А, главное, ни у кого нет ни малейшего сомнения в ее необходимости и желательности. Все преисполнены

веры в ее благой смысл. И, передаваясь от народа в армию, эта вера творит чудеса, совершает неслыханные подвиги и берет неприступные твердыни. И опять-таки в духовном облике командующих ярко отражается та народная волна, которая их вынесла на своем гребне. Нынешняя война в отличие от прошлой выдвинула целую плеяду блестящих военных талантов. Но, что всего замечательнее, все эти полководцы связаны одною общею чертою, которая глубоко коренится в народном настроении: все они проникнуты несокрушимой волею победить, все они — люди железной энергии, глубоко проникнутые верою в святость своего дела. Когда мы читаем донесения о их подвигах, мы чувствуем, что для них нет препятствий.

Ошибочно было бы заключать отсюда, что одной воли победить достаточно для того, чтобы одержать победу. Но с другой стороны, без этой воли и без той веры, которая горы передвигает, ни о какой победе не может быть речи. Не сила оружия, отдельно взятая, решает участь сражений, а та духовная сила, которая управляет оружием и без которой оно — мертво.

И этого достаточно, чтобы понять огромное значение идей в истории: оно всего лучше выяснится нам все в том же сопоставлении.

Главная причина проигрыша нами японской войны заключается в ее безыдейности. Этим прежде всего обуславливается и отсутствие воли победить, о котором я только что говорил. Когда люди сомневаются в самой желательности победы, в самой ее полезности для отечества, им чрезвычайно трудно жертвовать для нее жизнью. Война из-за Кореи или из-за Маньчжурии, вообще из-за чужой территории, никого не воодушевляла, да и не могла воодушевлять. Для героизма требуется прежде всего вера в смысл подвига — нужна такая цель, для которой стоило бы всем жертвовать, не исключая и собственного своего существования. Когда внутреннее раздвоение духовное доходит до того, что даже люди, преданные долгу, начинают сомневаться, что благодетельнее для их родины — победа или поражение, — им чрезвычайно трудно быть героями.

Одно из главных условий наших побед в настоящую войну заключается в том, что таких сомнений теперь, слава Богу, не существует. Мы знаем, за что мы сражаемся. И наша несокрушимая воля победить обуславливается тем, что наша цель заставляет нас желать победы во что бы то ни стало: именно она оправдывает всякие

усилия, всякие жертвы, не исключая и самой высшей. Что же это за смысл войны, в которую мы верим?

Он определился для нас уже в ту минуту, когда могущественная Австрия напала на маленькую, беззащитную Сербию: тогда впервые возгорелась в нас ярким пламенем наша воля победить. И совершенно то же мы испытываем при виде издевательств Германии над Бельгией: мы чувствуем, что с этим мы примириться не можем, что превращение Европы в культурную орду, где все народы служат рабами одного, для нас безусловно недопустимо, что это — и наш собственный конец; самый смысл нашего существования требует, чтобы этого не было.

Волею судеб России навязывается освободительная миссия; и в этой миссии она находит самое себя, свое лучшее национальное я. Именно тогда она становится сама собою, именно тогда она обретает свой собственный образ Божий, когда она освобождает другие народы; так есть, так было и так будет. Помнится, перед началом русско-турецкой войны 1877—1878 годов, когда турки истязали Болгарию, как теперь немцы — Бельгию, в нас загорелся тот же праведный гнев и та же великая любовь. И так же, как теперь, сказалось действие этой любви: в прекращении раздоров, в полной приостановке всякой партийной жизни, в объединении всех противоположностей в едином самосознании народном. Только в эти минуты национального вдохновения ощущаем мы единую Россию. Только тогда обретает она это совершенное единство и цельность, когда история ставит перед ней великую цель, которая приподнимает ее над нею самою, над ее национальным эгоизмом. России нужно чувствовать, что она служит не себе только, а всему человечеству, всему миру. Только тогда она несокрушимо верит в себя и в самом деле хочет победить.

В этой черте есть что-то изначальное, что составляет самую нашу сущность. Замечательно, что именно высшие подъемы нашего национального самосознания совпадают с нашими освободительными войнами. Когда мы освобождаем угнетенные народы, мы всегда неизменно чувствуем, что это именно и есть настоящее дело России, то единственно существенное дело, ради которого стоит воевать. По сравнению с этой основной задачей интерес к завоеванию новых территорий всегда стоит у нас на втором плане.

Характерно, что воззвание Верховного Главнокомандующего о восстановлении единой Польши, свободной в своем языке, вере,

самоуправлении, было принято у нас с восторгом и выразило общее настроение; между тем на мечте о новых территориальных приобретениях наше народное чувство и общественное самосознание вовсе не останавливаются: все понимают, что, в случае удачной войны, эти приобретения возможны; но, с другой стороны, всякий чувствует, что не из-за этого мы воюем. Совершенно то же наблюдалось и во время войны 1877 года; тогда также общественное внимание было всецело поглощено одною мыслью — об освобождении балканских славян от турецкого ига; тогда также никто не мечтал о территориальных приобретениях. Когда же, в результате счастливой войны, некоторые завоевания тем не менее были сделаны, они как-то прошли мимо нашего общественного сознания; если бы не учебники географии и истории, мы об них и не помнили бы. Между тем освободительная задача войны врезалась в памяти народной: о ней до сих пор поет солдатская песнь:

Греми, слава, трубой,  
Мы дрались, турок, с тобой.  
По горам твоим Балкан  
Мы дралися за славян.

Эта черта нашего национального самосознания часто приводится как доказательство нашей мечтательности, политической незрелости и беспочвенного идеализма. А между тем именно в ней сказывается здоровый политический смысл и правильное понимание нашего жизненного интереса. Освобождение других народов и борьба за слабых против сильных не есть только дело нашего политического бескорыстия: она необходима и для самой России.

Обладая огромной территорией, Россия не заинтересована в ее увеличении: политика захватов может причинить нам не пользу, а только вред: нам нужно сохранить, а не умножить наши владения. Но именно это стремление к сохранению достояния отцов, этот территориальный консерватизм, который диктуется России ее жизненными интересами, делает ее естественной защитницей и покровительницей слабых и угнетенных народностей — всех тех, кому грозит поглощение и порабощение.

В международной политике Россия заинтересована прежде всего в том, «чтобы большие рыбы не пожирали малых рыб», чтобы большие народы не возрастали и не усиливались на счет слабых. Освобождение

Сербии, защита Бельгии, возрождение Польши — все это диктуется нам не одними человеколюбивыми чувствами, но и насущными национальными интересами. Ибо все эти малые народы, не могущие угрожать целостности и независимости великой России, нуждаются в ее содействии, а потому являются ее естественными союзниками против народа-завоевателя и хищника, который в одинаковой мере угрожает как им, так и ей. Что поглощение маленькой Сербии представляет угрозу целостности России, это у нас всеми инстинктивно чувствуется: от этого и австрийский ультиматум Сербии послужил поводом к началу австро-русской войны. Но такая же солидарность интересов связывает нас вообще с малыми народами Европы. Существование независимой Сербии, Черногории, Бельгии и Дании — все это для нас гораздо важнее, чем новые территориальные приобретения. Защита слабых и воскрешение малых народов, поглощенных сильными, — такова историческая задача, волею судеб навязанная России.

Освободительная миссия России имеет уже вековую давность. Ради нее велись наши балканские войны прошлого столетия; но никогда так резко, как теперь, не обозначался ее универсальный, общенародный характер: мы боремся за освобождение всех народов вообще, всех, кто уже поглощен, и всех, кому угрожает поглощение и угнетение, без различия племени и вероисповедания. Мы сражаемся за права национальностей вообще, за самый национальный принцип в политике в полном его объеме.

Отсюда — полная непригодность старых славянофильских формул для осознания нашей национальной задачи — тех лозунгов, которые выражали собою задачи наших прежних русско-турецких войн.

Те войны велись преимущественно ради разрешения славянского вопроса, ради освобождения из-под турецкого ига наших единоплеменников и единоверцев. Между тем освободительная задача настоящей войны совершенно чужда этой племенной и вероисповедной окраски. Отдельного славянского вопроса теперь уже больше не существует: волею судеб Россия вынуждена сражаться и за другие народы — армяне, а быть может, еще и румыны и итальянцы также ждут от нее содействия своему освобождению. Равным образом настоящая война не связана с интересами какого-либо одного вероисповедания. Восстановление национального единства

католической Польши интересует нас не менее, чем судьбы православной Сербии. Наконец, настоящая война не может быть понимаема и как столкновение России с европейским Западом. Во-первых, Восток в этом столкновении олицетворяется вовсе не нами, а, скорее, императором Вильгельмом, поднявшим зеленое знамя пророка; во-вторых, под тем же знаменем бок о бок с нами сражаются целых три западных державы.

Задача, навязанная нам историей, чужда противоположности Востока и Запада: она в одинаковой мере возвышается над антагонизмом племенным и вероисповедным. Это — задача по существу сверхнародная, универсальная, задача всеобщего политического возрождения всех поработанных национальностей. Все маленькие национальные государства, которые могут родиться в результате нашей победы, и все те, которые могут быть поглощены Германией в случае нашей неудачи, — для нас ценны и дороги: ценны не только сами по себе, но и в качестве сторожевых постов против Германии, преград против ее завоевательных стремлений.

В этом совпадении национального интереса с идеалом справедливого, христианского отношения к другим национальностям заключается великое счастье России. Ее важнейшая международная задача есть вместе с тем возвышенная нравственная и религиозная задача, ибо это — задача христианского разрешения национального вопроса.

Уже из одной ее постановки видно, что выполнение ее не может быть делом одной физической силы. Чтобы победа досталась нам в руки и упрочилась в будущем, нужно, чтобы наша борьба против германизма всегда оставалась борьбою всех против одного. Каков бы ни был исход настоящей войны, великая германская нация, насчитывающая более семидесяти миллионов, может быть только побеждена, но не уничтожена. И в будущем Германия останется во всяком случае сильным и опасным для нас соперником; опасность эта может быть устранена только верностью тому знамени, во имя которого мы боремся; как только мы ему изменим, как только вместо того, чтобы освободить и защищать другие народы, Россия начнет поглощать и угнетать их, народы восстанут против нее, как теперь они восстают против Германии: отказаться от своей освободительной

миссии для нее — значит обречь себя на гибель духовную, а в конце концов и материальную.

## II

Таковы свойства задачи, вытекающей из мирового положения России. Для успешного ее разрешения нужно считаться со всеми трудностями и препятствиями, с которыми придется встретиться при ее выполнении.

Главнейшая опасность, с которой нам приходится считаться, — опасность психологического, нравственного свойства. С одной стороны, для осуществления нашей задачи нам нужна такая победа, которая сделает Россию вершительницей судеб мира. С другой стороны, нам нужно во что бы то ни стало избежать того рокового соблазна мирового первенства, который усыпляет духовные силы народа-победителя и тем самым обрекает его на гибель.

Пример современной Германии ясно обнаруживает, в чем заключается этот соблазн и эта опасность. Та война, которую мы ведем в настоящее время, есть прежде всего борьба против узкого национализма одного народа, ставшего всеобщим врагом; но уродливые крайности этого национализма расцвели именно на почве мировой гегемонии Германии: именно она породила то упоение собственным могуществом и величием, которое составляет язву духовной жизни современного немецкого общества.

С этой чертой связаны и все те роковые затруднения, которые приходится переживать Германии в настоящее время: безо всякого сомнения, они коренятся в том шовинистическом настроении, которое выросло на почве немецких побед семидесятых годов. Этих затруднений, конечно, не было бы, если бы не аннексия Эльзаса и Лотарингии, если бы не немецкий *Drang nach Osten* (Стремление (натиск) на Восток. — нем.), если бы не колониальная политика Германии, если бы не те ее завоевательные стремления, которые превращают ее в государство-пугало, в олицетворенную угрозу для всех.

В этом заключается тот важнейший для нас урок современной истории, который мы прежде всего должны себе усвоить. Злой рок, тяготеющий над победителями и в особенности — над мировыми владыками, угрожает не одной только Германии, но также и всякому вообще народу, который увлечется соблазном мирового первенства и

забудет о той нравственной и культурной задаче, которая одна может служить оправданием мирового могущества. Сущность этой опасности нашла себе прекрасное художественное изображение в германской саге о кольце Нибелунгов и в музыкальной драме Вагнера того же названия.

Одно и то же кольцо Нибелунгов дает власть над миром и обрекает на смерть овладевшего им победителя. И причина этого злого рока — чисто психическая: она лежит частью в настроении самого победителя, частью в настроении окружающих. С одной стороны, мировое владычество нередко искажает духовный облик владыки, превращает его в ненавистное и опасное для всех страшилище, в лютого хищника, а с другой стороны, она создает вокруг него атмосферу всеобщей ненависти; и рано или поздно он должен стать жертвой этой ненависти.

У Вагнера эта мысль особенно ярко олицетворяется образом великана Фафнера. Увлеченный алчностью, этот счастливый обладатель кольца утрачивает человеческий облик и превращается в злое чудовище: ставши огнедышащим драконом, он удаляется в пещеру зависти, где он стережет свою добычу и всякого приближающегося к ней пожирает. А вокруг пещеры нарастает та всеобщая зависть и ненависть, которая должна положить ему конец: весь мир живет в ожидании героя, который сразит чудовище... Но герой, завладев кольцом, сам в свою очередь должен погибнуть...

Напрасно было бы искать каких-либо национальных черт в этом художественном образе. Несмотря на немецкое имя, Фафнер — тип вовсе не немецкий, а общечеловеческий. Утрата человеческого облика и превращение в чудовище — с тем же роковым концом грозит на высоте мирового владычества всякому народу, упоенному собой, одержимому манией величия и поработанному злою страстью алчности.

С этой точки зрения я приступаю к вопросу, который для меня является основным. Я не только разделяю общую нашу волю победить, я не сомневаюсь в том, что на поле брани победа будет наша. Но ведь эта победа желательна для нас не как торжество голой силы России, а как завершение той высшей, духовной ее победы, которая составляет смысл этой войны. Не для себя мы хотим этой победы, а ради того знамени, за которое мы стоим. И вот я спрашиваю себя,

найдет ли в себе силы Россия до конца высоко держать это знамя? Будет ли она в состоянии выдержать собственную победу и привести ее к благому, прочному результату? Удастся ли ей преодолеть свое собственное внутреннее чудовище — того страшного и злого зверя, который таится в душе каждого народа? Сумеет ли она на высоте величия и могущества сохранить тот светлый человеческий облик, который оправдывает победу?

Повторяю, от этого зависит не только смысл победы, но и самая возможность ее довершения. Было бы легкомысленно воображать, что с окончанием этой войны окончится и период военных опасностей для России. Ведь никакая победа наша на западе не может уничтожить будущую опасность на востоке; а в связи с ней может когда-нибудь возродиться и опасность на западе. Великий семидесятимиллионный народ германский может быть побежден, но не уничтожен... И вот перед Россией ставится вопрос, коего значение, к несчастью для себя, в 1871 году не поняла Германия. — Что мы должны сделать для того, чтобы нынешние наши победы не подготовили для нас поражений в будущем? Иначе говоря, как нам избежать участи Фафнера?

Ответ на этот вопрос заключается уже в самой его постановке. Раз причина гибели Фафнера заключается в духовном его облике, нам нужно во что бы то ни стало избежать уподобления ему. Спасение России заключается единственно в том знамени, которому она служит, в победе над национализмом и алчностью, в разрешении все той же нравственной задачи всемирной культуры — национального вопроса в его мировом объеме и значении. Новые маленькие национальные государства должны родиться на свет Божий, а старые должны быть сохранены и в случае их участия в войне по возможности доведены до своих естественных, национальных границ. И безопасность России в будущем зависит в особенности от того, будет ли она иметь эти государства на своей стороне. Россия должна сохранить за собою значение державы-освободительницы — защитницы всех малых и слабых народов против народов-хищников. Народы должны проникнуться убеждением, что она никому из них не грозит поглощением, а для всех служит заступницей. Тогда Россия станет центром союза народов в целях общей их безопасности.

Задача, которая поставлена перед нами, — не только политическая. Это — в высшей степени глубокая и сложная

культурная и вместе нравственная задача. Для разрешения ее недостаточно одной политической мудрости: нужен тонкий душевный такт, нужна целая духовная атмосфера — та самая атмосфера, которой недостает современной Германии. В создании этой атмосферы и заключается главнейшая культурная задача современной России. Да будет мне позволено сказать два слова о том, какова она должна быть.

Есть два крайних предела, между которыми колеблются взаимные отношения народов, — то совершенное, естественное их отчуждение, которое олицетворяется библейским образом разделения языков, и то совершенное духовное их объединение, которое в Новом Завете олицетворяется видением огненных языков — Пятидесятницей.

Когда каждый народ видит исключительно в самом себе цель и рассматривает все прочие народы только как средства для своего благополучия, тогда в их взаимоотношениях господствует именно то настроение, которое выражается в разделении языков. Каждый руководствуется девизом — мой народ превыше всего — Deutschland, Deutschland uber alles, а все пожирают друг друга.

Задача России заключается именно в преодолении этого лозунга, именно в установлении такого единства между народами, при котором язык не отчуждает и не отталкивает людей друг от друга, а духовно их объединяет. Это — то взаимоотношение народностей, при котором они не исключают друг друга, а, наоборот, духовно друг друга восполняют.

Невольно возникает сомнение, возможны ли такие отношения между народами, возможно ли то отрешение от национального эгоизма и то одухотворение человеческой жизни, которое для этого требуется? К счастью для человечества, есть факты, которые доказывают, что задача не выходит за пределы возможного. Тот высокий духовный подъем, который мы переживаем, дает основание верить не только в самоотвержение отдельных лиц, но и в самоотвержение целых народов.

Я остановлю ваше внимание на одном ярком примере — на том переломе, который на наших глазах совершается во взаимных отношениях России и Польши. — Именно в этих отношениях до последнего времени особенно сильно чувствовалось взаимное отчуждение; именно в них разделение языков было несомненной и мучительной реальностью.

Бывало, когда заслышишь польскую речь, душою овладевает какое-то тоскливое, болезненное чувство. Точно различие языков сразу устанавливает какую-то глубокую пропасть между говорящими. Словно эти два языка представляют собою две психические сферы настолько замкнутые и непроницаемые друг для друга, что самое внешнее их соприкосновение невозможно и всякие человеческие отношения между говорящими тем самым исключаются.

И вдруг произошел какой-то сдвиг в отношениях обоих народов. Наш долг перед Польшей еще далеко не исполнен, отношения Польши к официальной России все еще остаются неясными. И несмотря на это, уже не чувствуется прежней пропасти между двумя народами: их язык как будто перестал их разделять. Теперь польская речь для нас, с одной стороны, — жгучее напоминание о разрушенных очагах, о сожженных деревнях и о близком родном, находящемся в опасности; с другой стороны, в ней слышится нам бодрящий призыв — крепко взять в руки наше народно-русское и всеславянское знамя. А что такое, рядом с этим, русская речь для поляка, это я понял на днях, когда я услышал бесхитростный рассказ о происходившем в одном из московских лазаретов: там раненые солдаты-поляки крестились и плакали, как дети, при вести о нашей варшавской победе, радовались ей едва ли не больше, чем сами русские. Если в эти дни страдания и ужаса до Польши доходит благая весть о спасении, то она слышит ее, конечно, на русском языке. И вот почему теперь рушатся высокие духовные перегородки, раньше отделявшие два народа.

Такие факты дают основание надеяться, что виденье огненных языков когда-нибудь станет реальностью в жизни народов. Правда, это случится нескоро; и до того им придется пройти долгий, трудный путь. Но уже теперь это виденье носится перед нами как отдаленная цель, определяющая направление нашего странствования. Если уже теперь язык польский зажигает в русской душе неудержимый, святой и огненный порыв, это значит, что мы уже слышим каким-то внутренним слухом огненный язык польской народности. И если русский язык теперь вызывает восторженные слезы в Польше, это значит, что и в русской речи прозвучал для поляка тот огненный язык, который предвозвещает воскрешение родной земли. Ведь этот язык, животворящий душу, стал слышен Польше в тот момент, когда

героическими усилиями русского солдата восстанавливается живая связь распавшегося тела растерзанной Польши.

Бывают минуты высокого вдохновения и великого подъема в жизни народов, когда народный язык преисполняется высшего, надчеловеческого, а потому и общечеловеческого смысла. Тогда он становится прозрачной оболочкой души народной и в этом качестве всем доступен, всем понятен. Тогда в глазах людей приподнимается завеса на ту высшую тайну, которую Дух Божий провидел о народностях.

*«И явились им разделяющиеся языки как бы огненные и почил по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на других языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался сей шум, собрался народ и пришел в смятение: ибо каждый слышал их говорящими его наречием»* ([Деян. 2:3-6](#)).

Вот высший идеал и высшая духовная норма взаимных отношений народов. — Все народы под небесами должны собраться в один духовный Иерусалим, всякий должен говорить своим наречием, и всякий должен переживать эту речь так, как если бы он слышал свой родной язык. И то, что сказано в Деяниях апостольских о языке, должно быть понимаемо шире — в применении ко всей духовной жизни народов. Во всем народном творчестве, во всей национальной культуре должен звучать все тот же огненный язык, у каждого народа особенный, своеобразный, но вместе с тем родной и близкий всем прочим народам.

Этим окончательно разрешается вопрос, поставленный мною раньше, — какова та духовная атмосфера, которая должна дать полную и окончательную победу России над Германией.

Духовная атмосфера современной Германии есть именно атмосфера разделения языков, доведенная до крайней степени. Здесь один народ утверждает себя против всех и тем самым восстанавливает всех против себя. Кто возбудил против себя эту атмосферу всеобщей ненависти, тот рано или поздно должен стать ее жертвой. Если мы когда-нибудь последуем примеру Германии, если мы возведем нашу народность в кумир и в слепом превознесении запоем в русском

переводе «Russland, Russland uber alles», — тогда и нас ждет та же участь, как и Германию.

Единственный способ избежать этой участи заключается в том, чтобы противопоставить Германии иное, высшее культурное начало. Если Германия избрала путь духовной розни, то мы должны противопоставить ей путь внутреннего духовного сближения со всеми народами. Не разделение языков, а Пятидесятница должна выражать собою конечную цель наших стремлений. Как в политике, так и во всех областях культуры наша задача — по преимуществу синтетическая. Широкое объединение национальностей во всех областях духовной жизни при сохранении особенностей каждой из них, — осуществление единства всемирной культуры в многообразии национальных выражений, — вот тот идеал, к которому мы должны стремиться.

Волей судеб Россия призвана служить той высшей сверхнародной культуре, в которой отдельные народности не истребляют, а восполняют друг друга. Исполнит она эту свою задачу или вместо того удалится в мрачную пещеру зависти и там в духовном одиночестве будет пожирать свою добычу — это, конечно, всецело зависит от ее доброй воли. Теперь или никогда от нее зависит выбрать путь жизни или путь смерти, стать центром союза народов ради их спасения против всякого хищения или добровольно обречь себя на гибель, которая суждена всякому народу-хищнику.

Невозможно сомневаться в том, каков должен быть выбор России народной. Будем надеяться, что он таким и будет. Официальные перегородки по-прежнему продолжают разделять народы, но в народной душе они рушатся: высокое призвание России — освободить народы — всеми сознается, всеми чувствуется, и вот почему в начале этой войны в могучем общем порыве объединились все народы нашей великой империи. Их объединило то общее всем им знамя, во имя которого они сражаются: из веры в это знамя, шествующее перед нами, проистекает наша могучая воля победить и наша уверенность в победе. Нам нужны нечеловеческие усилия, чтобы низринуть с высоты тевтонского идола; но мы низвергнем его, конечно, не для того, чтобы заменить его же собственным образом и подобием. Мы верим в творческую силу России, в ее способность создать вместо ниспровергнутого нечто бесконечно более прекрасное и

ценное — ту христианскую культуру, которая не погубляет, а воскрешает народы. Будем помнить надпись «сим победиши» на нашем знамени и будем ему верны: оно спасет Россию и пронесет ее победу чрез всю великую борьбу, как бы трудна она ни была и как бы долго она ни продолжалась.

## Отечественная война и её духовный смысл

Попытка проникнуть во внутренний, духовный смысл мировых событий, еще не завершивших своего течения, может показаться дерзкой и преждевременной. Можем ли мы — современники и участники этих событий — возвыситься духом над тем могучим потоком, который нас уносит? Можем ли мы обладать достаточным спокойствием и беспристрастием, чтобы судить о его значении?

Какова бы ни была кажущаяся убедительность этих сомнений, есть веские основания, которые заставляют нас ставить вопрос именно теперь. — В другую, более тусклую эпоху мы сами не будем обладать той совершенно исключительной восприимчивостью и чуткостью, которые свойственны нам в настоящую минуту — в дни переживаемого нами духовного подъема. В эпохи будничные сверхвременное блекнет, гаснет чувство и самая мысль нередко утрачивает высоту и силу своего полета. Тогда внимание поглощается частным и забывается общее, великое историческое целое заслоняется раздором противоположных начал, несущественными подробностями и преходящими злобами дня, а единый смысл жизни теряется и словно исчезает в пестром хаосе событий.

Помнится, в конце девяностых годов мне пришлось слышать в Италии разговор, типический для всей современной Европы в мирное время. Речь шла о бесконечном дроблении всей политической и общественной жизни Италии, о нескончаемой и безнадежной борьбе множества политических партий, групп и подразделений групп, которые никак не могут собраться в одно целое.

И собеседники-итальянцы беспомощно спрашивали, где же руководящий мотив современной политической и общественной жизни? Вопрос этот в то время не находил себе ответа ни в Италии, ни в какой-либо другой стране. И не в одной политике — во всех сферах жизни одинаково мучительно ощущалась все та же бестолочь, все то же дробление, отсутствие цельности и связующего всех общего смысла. Во всех странах мира царствовал все тот же раздор и пестрый, бессмысленный хаос: всюду группа заслоняла нацию, нация —

человечество; а вопросы зачем и куда казались одинаково неразрешимыми.

В течение долгого времени для поверхностного взгляда Россия могла казаться исключением из общего правила; но это обуславливалось единственно тем, что она была лишена возможности высказывать свою коллективную мысль и волю: как только благодаря представительным учреждениям и некоторому расширению свободы печати эта возможность явилась, единство и цельность общественной жизни тотчас оказались призрачными; общественное дробление и раздор партий проявились с той же силой и не с меньшим ожесточением, чем в Западной Европе. А вопрос о том, где же наконец единая нация, где руководящий мотив жизни нашего народа и жизни народов вообще, оказался столь же трудным для разрешения у нас, как и всюду.

И вот теперь мы переживаем одну из тех редких исторических минут, когда жизнь как будто дает на него ответ. Это — одна из тех эпох, когда сверхвременный смысл жизни личной, национальной и общечеловеческой светит необычайно ярко и сильно, когда единство центрального, мирового мотива истории становится особенно ясным и несомненным. В такие эпохи все частное отбрасывается: интересы групповые, партийные умолкают и как бы стыдятся самих себя; наоборот, то общее, что связует людей в нации, проявляется с исключительной энергией. Национальное единство ощущается с наибольшею силою именно в те исторические минуты, когда ему угрожает наибольшая опасность. И в то же время, несмотря на ожесточенность спора между нациями, необычайно глубоко чувствуется то, что бесконечно выше этого спора, — тот безусловный, сверхнародный смысл жизни, который должен объединять народы. Необходимо теперь же закрепить в мысли то ценное, что есть в переживаемом нами духовном подъеме, потому что забыть эти переживания — значит вновь угасить в себе ту жизнь духа, которая собирает нас воедино, и погрузиться без остатка в тот бессмысленный поток обыденщины, где все разорвано на части; там утрачивают свою целостность и личность и народ и человечество.

Разумеется, было бы преждевременным подводить окончательный итог всем духовным приобретениям настоящей войны. Однако некоторые из них уже теперь представляются несомненными. Прежде

всего — Россия совершила огромный шаг в самосознании и в самопознании. Он измеряется хотя бы тем, что только теперь мы можем наконец осмыслить те события и факты недавнего прошлого, значение коих доселе оставалось для нас неясным и спорным; чтобы глубже проникнуть в смысл настоящей войны, нам необходимо остановить наше внимание на этой только что пережитой нами подготовительной эпохе русской жизни.

В болезнях и муках совершался процесс нашего духовного рождения, и наблюдателю со стороны нелегко было решить вопрос, что это такое: болезнь роста или недуг смертельный, процесс разложения общественного организма. До 1903 года над Россией носилась атмосфера ноющей бессмыслицы, та самая, которая нашла себе бесподобно яркое изображение в произведениях Чехова. Общественность отсутствовала, и сонная Россия, казалось, потеряла свое духовное я, утратила смысл своего существования; а острое чувство тоски, развивавшейся среди этого общественного безмыслия и бездействия, заглушалось двумя могущественными суррогатами жизни и смысла — водкой и картами. Нас разбудил удар грома на Дальнем Востоке — несчастная война, перешедшая в кровавую смуту.

Начавшийся вслед за тем период общественного строительства протекал среди напряженной борьбы противоположных течений. Картина была пестрая и сложная; в течение долгого времени трудно было решить, что возьмет верх — те ли творческие силы, которые выковывают новые формы народной жизни, или тот хаос темных центробежных сил, который рвет на части национальное целое и угрожает ему полным распадом. Видимость была обманчива, и нечего удивляться тому, что она ввела в заблуждение наших соседей — немцев: от многих русских в ближайшие годы после японской войны приходилось слышать, что Россия- совсем разлагающаяся страна.

Прежде всего, до настоящей войны мы, по-видимому, и сами не знали той силы любви к родине, которая таилась в русской душе; в дни японской войны, напротив, в русском обществе наблюдалось как бы некоторое ослабление национального чувства, которое многими ошибочно истолковывалось как признак омертвления самой русской народности.

Затем, в период, непосредственно следующий за войной, обнаружилась грозная сила антигосударственных и антиобщественных

течений в России. Целости нашего государственного организма угрожали, с одной стороны, пугачевщина, поддерживаемая острой нуждой народной и неустройством русской деревни, а с другой стороны — мундирный анархизм — наше традиционное безначалие и беззаконие. В связи с непрекращающимся пьянством хулиганство в наших народных массах разрасталось до неслыханных размеров: его развитие шло рука об руку с ослаблением религиозной веры и с появлением новых, прямо нигилистических течений среди нашей крестьянской молодежи. В крестьянстве таилась возможность новой смуты, среди рабочих не прекращалось глухое революционное брожение. А в то же время успехи порнографической литературы и в особенности проповеди Санина свидетельствовали о могущественном развитии хулиганского аморализма среди образованных и полуобразованных слоев русского общества. К опасности общественного разложения в то же самое время присоединялась и опасность политическая; тут элементом смуты служил наш воинствующий национализм, эта рабская копия с национализма германского: он делал все возможное, чтобы обострить борьбу народностей в России и разжечь в инородцах ненависть против господствующего великорусского племени; тем самым расшатывалась внутренняя крепость России и ее международное положение.

Велика была сила разрушительных течений в России, и опасения пессимистов за ее будущее имели видимость веских оснований; но, к счастью, опасения эти не оправдались. Еще могущественнее оказалась целящая сила жизни в нашей душе народной, и она взяла верх над болезнью. С Россией повторилось то же самое, что бывает иногда при болезнях физических. Таившиеся в нашем народном организме и постепенно накапливавшиеся в нем яды обнаружили всю свою силу именно в тот момент, когда они стали выходить наружу. Для организма слабого этот болезненный процесс высыпания нередко оказывается началом конца; напротив, для организма сильного он означает освобождение от яда и, стало быть, — начало выздоровления. Но, пока процесс не завершится, возможны ошибки в диагнозе: никто не может предсказать наверняка, что ждет больного — выздоровление или смерть?

Так было и с Россией. Диагноз пессимистов оказался ошибочным, потому что он недооценил присущей ей жизненной энергии — тех

нравственных ее сил, которые оказались гораздо могущественнее смертоносных ядов. Россия справилась со своими недугами; крепость нашего народного организма отныне доказана огненным испытанием великой европейской войны: организм больной или слабый не мог бы выдержать и малой доли того, что мы теперь выдерживаем. И в довершение всего теперь уже не может быть сомнения, что болезни, пережитые Россией за истекший переходный период ее истории, были болезнями роста.

Прежде всего материальный ее рост за истекшее десятилетие удостоверяется поразительным усилением военного могущества. В этом отношении она со времени минувшей японской войны стала неузнаваема. Но это усиление военного могущества не есть только факт материального порядка: оно является вместе с тем и красноречивым показателем некоторого действия сил духовных, без коего уроки японской войны не могли бы быть нами использованы. И прежде всего в этом усилении русской армии отражается рост русской общественности за истекшее десятилетие.

Раньше все заботы по организации русской военной силы были исключительно делом правительства; наоборот, та реорганизация армии, которая совершилась за истекшие десять лет, является результатом совместной работы правительственной власти и народного представительства; последнее горячо откликалось на всякие улучшения, настойчиво их требовало и поддерживало их щедрыми кредитами. Парламентские прения, касающиеся армии, не публикуются во всеобщее сведение, и потому нам трудно судить о том, как широко было участие наших народных представителей в той созидательной работе, которая привела к возрождению русской военной мощи; мы пока еще не можем определить степень того возбуждающего влияния, какое они оказали на деятельность военных властей, протекавшую на глазах у Государственной Думы. И тем не менее огромный моральный результат этой совместной работы виден уже теперь. Участие в ней народного представительства воспитало в широких слоях русского общества чувство солидарности между народом и армией и сознание ответственности народа за армию.

В том общественном настроении, которое господствовало в дни японской войны, болезненно поражало отчуждение между народом и армией. Никто не чувствовал себя ответственным за последнюю. Не

было того пламенного интереса к ней, который замечается теперь; общественное отношение к ней было в общем довольно-таки холодным: словно ее дело не считалось делом народным, и ее неудачи рассматривались не как поражения русского народа, а единственно как поражения русского правительства.

Теперь, наоборот, армия всеми ощущается как плоть от плоти и кость от кости нашей — предмет народной любви и гордости. Ее слава — наша слава; наоборот, ее временные неудачи, неизбежные даже в войне победоносной, всеми ощущаются как наши народные неудачи. И это слияние народа с армией обуславливается не одной только популярностью нынешней войны, но также и творческим участием народа в созидании армии. Теперь мы участвуем в войне как ответственные граждане нашего государства, тогда как в дни японской войны мы чувствовали себя только безответственными обывателями и зрителями. В этом — одно из существенных отличий нынешнего общественного настроения от тогдашнего и одно из основных условий проявленной нами силы. В сознании своего единства с народом заключается один из могущественнейших источников воодушевления армии. Чтобы совершать великие подвиги, воин должен прежде всего чувствовать себя гражданином. Поэтому все, что способствует развитию гражданских чувств в населении, тем самым служит на пользу армии. В создании новой атмосферы гражданственности в России за истекшее десятилетие заключается огромная заслуга нашего народного представительства, и уже этим одним доказывается, до какой степени преувеличена была та пессимистическая оценка ее деятельности, которая так часто высказывалась за последние годы. Как бы ни было несовершенно наше народное представительство, все-таки оно оказалось могущественной творческой силой; в особенности в созидании новой русской общественности ему принадлежит огромная роль; тут его духовное влияние имело гораздо большее значение, чем его законодательная работа.

Но не одною деятельностью народного представительства измеряются успехи современной русской общественности. Другим показателем этих успехов является могущественный экономический рост России за истекшее десятилетие.

Опять-таки и здесь в материальном факте выражается творческая деятельность силы духовной. Наиболее ярким тому доказательством

служит охватившее наше крестьянство за последние годы кооперативное движение. В короткое время оно обещает изменить в корне весь бытовой уклад нашей деревни. Обеспечивая крестьянину дешевый кредит, кредитные товарищества делают его независимым от сельского кулака. Товарищества потребительные дают ему возможность дешево покупать предметы первой необходимости; товарищества производительные улучшают производство сельскохозяйственных продуктов и обеспечивают выгодные условия их сбыта; наконец, кооперация дает возможность крестьянам на общие средства приобретать дорогостоящие и раньше недоступные им сельскохозяйственные машины.

Важнее всех этих экономических улучшений — те новые принципы, которые вносятся кооперациями в жизнь нашей деревни. Раньше бедность ее создавалась и поддерживалась в особенности отсутствием личной инициативы — косностью крестьянской массы и ее разрозненностью. Теперь же кооперации, коих десять лет тому назад в нашей деревне почти вовсе не было и коих теперь насчитываются в ней уже десятки тысяч, вносят в нашу крестьянскую среду дотоле чуждые ей начала свободной организации и самопомощи. Важно то, что подъемом своего благосостояния крестьянин обязан прежде всего самому себе: через кооперацию он становится сам соиздателем собственного благополучия. И на эту крестьянскую самопомощь опирается теперь вся правительственная и земская деятельность, направленная к улучшению быта деревни. Вся реорганизация крестьянского сельского хозяйства, вся экономическая помощь сельскому населению, как земская, так и правительственная, теперь проводится через кооперации.

Наряду с хозяйственной полезностью кооперации велико ее нравственное значение. Стихийный рост кооперативного движения в нашей деревне доказывает, что в нашем народном организме есть жизненная сила, способная противостоять разлагающим его разрушительным течениям, есть могущественное противоядие против мироедства, хулиганства и пугачевщины. Сельское хозяйство становится на общественную ногу; и, что всего важнее, самый факт нарождения этой новой крестьянской общественности свидетельствует о проникновении в жизнь некоторых новых нравственных начал, без коих экономическое возрождение нашей деревни не могло бы иметь

места. Тот быстрый рост кооперации, который мы в настоящее время замечаем, не был бы возможен, если бы не упорная организаторская деятельность сельской интеллигенции, которая в большинстве случаев бескорыстно отдает свой труд общему делу.

В итоге десятилетие, непосредственно предшествующее войне, может быть охарактеризовано как эпоха материального роста России и как эпоха создания новых форм русской общественности. В борьбе с многочисленными разрушительными и антиобщественными течениями могущество и благосостояние России не только не уменьшилось, но, наоборот, умножилось; и уже в этом одном заключается красноречивое доказательство крепости нашего народного организма. Положительное значение этого факта увеличивается тем, что, как мы видели, процесс физического оздоровления нашей родины совершался при деятельном участии сил духовных. Однако этим еще не решается окончательно вопрос о безусловной ценности достигнутых результатов.

Что мы имеем в современной России и как определилось ее духовное я в только что закончившийся период ее исторического развития? Сопровождалось ли возрастание ее материального могущества соответствующим ростом духовным или же дух здесь играл только подчиненную, служебную роль орудия материальной культуры? Что, собственно, выросло и что родилось на свет в результате пережитых мук и исканий: подлинное духовное величие или же только большое, но бессмысленное могущество?

Теперь, когда великая отечественная война ребром поставила вопрос не только о физической мощи, но также и о духовном облике России, история дала на него тот недвусмысленный ответ, который оправдывает веру в русский народный гений.

## II

Великая европейская война открыла собою эпоху повышенной жизнедеятельности человека и человечества. В общем повышении жизненной энергии выражается первое и основное действие войны на народную жизнь.

Во время войны все живут с удвоенной силой — и личности, и общественные группы, и целые народы. Вопрос «быть или не быть?» ставится необычайно остро перед всеми; и жизнь повышается именно

потому, что она вынуждена отстаивать себя, утверждать себя в борьбе с надвигающимися отовсюду силами смерти.

Эта общая интенсификация жизни совершается во всех направлениях, проявляется одинаково как в добре, так и во зле. С одной стороны, война разнуздывает темные силы ада, — снимает оковы, извне наложенные на зло цивилизацией: с другой стороны, на борьбу с сорвавшимся с цепи сатаной восстают все те светлые силы, какие таятся в человечестве. В такие времена пробуждаются все дремлющие в нем, доселе неявленные миру или же, наоборот, давно забытые возможности. С одной стороны, европейская культура оказывается всего только легким покрывалом, наброшенным на злую жизнь. В человеке обнажается дикарь, допотопное чудовище, все еще не побежденное и разве только извне обузданное современной цивилизацией, но зато ею же вооруженное с головы до ног: мы вновь слышим об его неистовствах, о невероятных жестокостях осатаневших людей и предводимых ими масс, — вообще о многообразных проявлениях дочеловеческого хаоса в современной истории. Но, с другой стороны, оживают и силы добра, раньше усыпленные будничной обстановкой мирного времени.

Теперь не время скромных, мещанских добродетелей и пороков. В нынешнюю минуту крайнего обострения мировых противоположностей, в эпоху мирового кризиса, когда небо и ад вступили между собою в беспощадную борьбу из-за обладания человеком, и та и другая сила становится в нем явную. В человеке одновременно растет и божественное и звериное. Рядом с извергами давно пережитой эпохи на наших глазах возрождается противоположный, тоже древний, казалось бы, давно исчезнувший тип святого и подвижника.

Сверхчеловеческая сила ненависти вызывает ответное действие сверхчеловеческой силы любви; высший подвиг самоотвержения становится явлением каждодневным. И, что всего замечательнее, теперь этот высший героизм вовсе не является свойством людей исключительных и великих. Героический дух овладевает массами; оказывается, что возможность героя таится и в тех серых, будничных, «хмурых людях», в которых она раньше ничем не проявлялась. Великие подвиги теперь совершаются даже такими людьми, которые доселе всем казались средними и даже вовсе ничтожными.

В такие времена происходит какой-то глубокий переворот в человеческом сердце: выковывается новый тип человека, более могущественный и более значительный. Человек как бы перерастает самого себя; а одновременно с этим повышением энергии личной жизни растет и сознание ее ценности. В минуту, когда обнаруживаются все дотопле скрытые силы и сокровища человеческого сердца, человек вызывает более сильные к себе чувства. В ответ на пробудившуюся ненависть необычайно ярко и сильно разгорается пафос любовного чувства во всех его видах и формах.

Об этом повышении личного чувства теперь красноречиво свидетельствуют бесчисленные, повседневно наблюдаемые нами сцены.

Помнится, однажды мне довелось слышать разговор на палубе парохода после проводов на отхожие промыслы. На берегу, как водится, стояли плачущие бабы, и после отвала от пристани мужики стали рассуждать на тему: «Почему баба плачет, а мы не плачем? Ведь жалко все одно, что нам, что им, только у нас сердце покрепче».

Как же возрастает эта сила любви и жалости, когда провожают на войну, откуда столь многие не возвращаются! Тут порою жалость переходит в бунт любящего сердца против роковой, неумолимой силы, грозящей гибелью всему милому и дорогому.

В начале войны наши газеты опубликовали перехваченное нашими войсками письмо невесты-немки к жениху, уехавшему на войну: «Зачем понадобилось наше маленькое, столь дорогое нам счастье этому жестокому кайзеру?» И всякое любящее сердце без различия национальности, в особенности сердце женское, несомненно чувствует этот протест. Но в том же чувстве любви есть нечто высшее, что приводит ропот к молчанию. В том же немецком письме, из которого заимствованы только что приведенные слова, есть и другая фраза: «Возвращайся ко мне светлым победителем — Зигфридом». Опять-таки и в этих словах мы имеем чувство общечеловеческое, всем народам хорошо знакомую муку любви.

Во всякой сильной и искренней любви есть это неизбежное противоборство двух могущественных влечений; с одной стороны, желание во что бы то ни стало сохранить возлюбленного, вырвать его из объятий смерти, а с другой стороны, мечта видеть его украшенным тем венцом, который завоевывается высшей жертвой и может стоять

жизни! С одной стороны, мой герой — этот отъезжающий на войну жених, муж, сын или брат для меня единственное в мире, незаменимое существо, за которое я отдам все сокровища на свете. Его гибель — такая утрата, за которую ничто равноценное меня вознаградить не может; как же помириться с мыслью, что на войне приходится жертвовать тысячами этих бесконечно дорогих жизней для овладения одной траншеей!

Но, с другой стороны, этот же пафос любви свидетельствует об ином, сверхличном содержании, которое одно может наполнить жизнь личности объективным смыслом и безусловной ценностью. Любви недостаточно чувствовать свой предмет: ей нужно, кроме того, ценить и уважать его; ее сила должна быть в нем оправдана. И она чувствует, что любимый человек — ничто вне того великого человеческого целого, к которому он принадлежит. Вне служения этому целому совершенно бессодержательно и пусто человеческое существование. Отсюда — эта готовность любви мириться даже с высшей жертвой — с самой утратой жизни. Для чувства, которое хочет гордиться своим предметом, знать любимого человека умершим легче, чем знать его предателем, изменником или просто низким трусом. Самая смерть возлюбленного, сына или брата иногда переносится легче, нежели утрата в нем человека в подлинном и высшем значении этого слова.

Отсюда — эта живая и жизненная связь двух чувств, двух пафосов — пафоса любви к человеку и пафоса любви к родине. В особенности во время войны, в эти дни высшего напряжения человеческой жизни и воли мы видим, как эти два чувства питают друг друга и разгораются от взаимного соприкосновения.

Нужно необыкновенно сильно чувствовать родину, чтобы пожертвовать для нее не только самим собою, но и тем, что дороже себя, — всем, что любишь. А между тем в переживаемые нами исторические минуты такая жертва становится явлением привычным: мы видим ее в беспредельном множестве повторений. И, чем больше приносимая жертва, тем глубже внедряется в сердце человека то великое народное целое, ради которого он жертвует.

В наши дни, когда все захвачены могучим народным движением, эта связь личного и народного иллюстрируется бесчисленными примерами. Теперь решительно все заняты войною: одни сражаются в рядах армии, а другие работают в тылу армии для какого-либо дела,

связанного с войной. И, вглядываясь внимательно в происходящее кругом кипенье жизни, поражаешься тем, сколько интимных, семейных и личных чувств связывается с этой общественной деятельностью. Как часто двигателем забот о раненых является любовь к ушедшим на войну близким людям, которые, может быть, завтра сами станут жертвами: и сколько добра творится в память дорогих отшедших, павших на войне! Теперь и мать, утратившая на войне своих сыновей, и невеста, у которой убили жениха, идут в сестры милосердия. Единый народный мотив связывает в одно целое все эти разнообразные переживания личного чувства: он подчиняет себе и радость, и горе, и счастье, и страдание личности.

Сознание национального единства, чувство солидарности людей в едином народном деле всегда возрастает и усиливается в дни военных бурь. Но теперь этот подъем национального чувства особенно могуч и велик именно потому, что нынешняя война есть война отечественная; таковую она является не для нас одних, но для всех ее участников: для маленьких, а может быть, и для некоторых больших народов дело идет о самом их политическом существовании и по меньшей мере — о политической независимости. Для России этой войной решается вопрос об ее целостности и об ее великодержавном положении. Для народов, как и для отдельных лиц, участвующих в войне, ребром ставится вопрос «быть или не быть?». И ближайший результат его постановки один и тот же как для отдельных лиц, так и для народов — необычайно сильный подъем любви к тому нам близкому и родному, что подвергается опасности.

Тут также проявляется та целющая сила жизни, которая противится разрушению и смерти. Ее действие, которое всюду сказывается в восстановлении и утверждении внутренней целостности наций, было в особенности чудотворным в начале этой войны, в первые дни вызванного ею духовного подъема. Повсеместная приостановка партийной жизни, прекращение внутренних раздоров и объединение всех в общей сверхпартийной задаче, — таковы яркие факты, которые в то время встречались всюду — и у нас, и у наших союзников, и точно так же у наших противников. Но, быть может, еще ярче были в то время те непосредственные стихийные проявления народного чувства, которые вызывались первым появлением раненых.

Каждый давал им, что мог, и выражал свои чувства, как мог; то, что происходило в городах, слишком хорошо всем известно, чтобы об этом нужно было напоминать. А в деревнях бабы с крестом и с молитвой тащили раненым все, чем богата крестьянская изба, — кто картофель, кто яйца, а кто холст. И всякая потребность, как бы велика она ни была, тотчас удовлетворялась, на всякую нужду откликались неизвестные жертвователи. Все делалось само собою, без сговора, без организации, стихийным движением народным. И во всей России та же народная стихия одинаково чувствовалась и одинаково действовала, творила те же чудеса, как только являлась в них потребность. В такие и только в такие минуты можно видеть и осязать ту единую, целостную Россию, которая в будничные эпохи истории словно распадается на бессвязные, враждующие части и словно теряет единство народного я в хаосе противоречивых явлений.

И не только между современниками возрождаются эти могучие узы солидарности: восстанавливается распавшаяся, казалось бы, давно порванная связь поколений. Их историческое преемство становится явным; единство общей жизни, связующей их в национальное целое, ощущается с небывалой силой. Именно теперь, в дни повышенного национального самосознания, мы с исключительной ясностью воспринимаем единство основного мотива нашей истории, распознаем его даже там, где раньше мы находили лишь безнадежное раздвоение между настоящим и прошлым.

Отсюда — то новое чувство, с которым мы смотрим на памятники старины. Как многое раньше казалось нам в них чуждым и непонятным! А теперь немые стены становятся говорящими и оживает то, что раньше казалось нам давно умершим. Именно теперь, при свете нашего нового духовного опыта, нам неожиданно открывается та духовная связь, которая нас с ними соединяет. Да будет мне позволено привести пример из только что пережитого.

Недавно я посетил одно из величайших мировых чудес церковной архитектуры и живописи — храм Св. Иоанна Предтечи в Ярославле. Мне приходилось много раз любоваться им и раньше — два с лишком десятка лет тому назад. Но тогда в испытанном мною впечатлении не было полноты: чувствовалось какое-то внутреннее препятствие, которое мешало мне наслаждаться. И вдруг оно исчезло: я был захвачен тем, что я увидел; теперь я впервые, наконец, почувствовал,

что духовная жизнь, запечатлевшаяся в этих линиях, красках и образах, для нас — не прошедшее, а настоящее. Мне как-то сразу стало ясно, что весь духовный смысл этого храма — в дивной его фреске, изображающей самого Предтечу со строгим ликом, с прекрасными, могучими крыльями и с неестественно худыми, аскетически истонченными руками и ногами.

Целые века русской истории высказали свое настроение и самую глубокую свою думу в этом изображении; в нем выразился тот духовный рост России, который совершался в физической немощи; у нее были слабы руки и ноги, и, может быть, именно потому у нее росли крылья. Когда под этим впечатлением я вновь осмотрел храм снаружи, я понял, что та же идея выражается во всем его внешнем облике, столь резко контрастирующем со всей окружающей его обстановкой. Точно умышленно этот богатый каменный храм с его золотыми главами, с его яркими жизнерадостными красками, с его роскошной живописью построен за Которослью — в самом бедном квартале Ярославля. Невольно эта красота и мощь архитектурных линий заставляет думать о могучих крыльях. А те бедные мирские строения — те жалкие деревянные домики, которые лепятся вокруг, вызывают в памяти истонченные руки и ноги.

Так когда-то сознавала и чувствовала себя Россия, из нищеты мирской растившая духовное богатство. Все, что жизнь производила ценного и дорогого, шло на украшение храмов, расточалось на роскошь их стенописи и на золотые, художественной чеканки оклады икон. Духовное ощущалось, как подлинно прекрасное и радостное. А рядом с этим мирское строение окрашивалось однообразными серыми тонами. Серым рисовалось, да и на самом деле серым было все здешнее; все яркие, радужные краски приберегались для того потустороннего, что изображается храмом. Есть еще одна типическая черта, которая делает этот контраст особенно рельефным. Храм Св. Иоанна Предтечи был выстроен в XVII веке после пожара, уничтожившего большую часть Ярославля. Обывательские дома и после того строились из дерева и горели, а каменный храм доселе противостоит и долго еще будет противостоять разрушительной работе времени. В глазах его строителей он выражал собою ту единственно непреходящую ценность, которая достойна быть увековеченной.

Для многих веков русской истории эта противоположность имеет основоположное значение. Тот же взмах могучих крыльев и та же немощь рук и ног чувствовалась и в те времена, когда монастыри собирали вокруг себя русскую землю, когда она спасалась от татар молитвами святого Сергия, и в дни высокого полета пушкинской поэзии над гоголевской равниной русской жизни, и в творчестве Достоевского, и в Руси, воспетой Тютчевым. Но выражается ли этим символическим образом Иоанна Предтечи дух современной России с ее изо дня в день растущим богатством и с ее быстро развивающейся материальной культурой? Не кажется ли иногда, наоборот, что теперь у нее выросли, наконец, могучие руки и ноги, но ослабели и атрофировались крылья!

Когда смотришь на Московский Кремль с того берега Москвы-реки, местами получается впечатление, словно фабричные трубы переросли колокольню Ивана Великого и нагло заявляют свои права на первенство. Зрителем овладевает мучительное беспокойство, где же, наконец, теперь подлинная вершина русской жизни и кто победит в этом споре из-за обладания душою России?

Но нынешняя война дает, наконец, решительный и ясный ответ на эти сомнения. Не самый факт обладания богатствами, а отношение к ним решает вопрос о духовном облике человека и народа. И вот теперь, в дни великого, огненного испытания, Россия презрела свое богатство, и с небывалой силой ощутила ничтожество материального благополучия. И тем самым восстановилась связь поколений. Рухнула та духовная преграда, которая мешала нам понимать и чувствовать наших предков. Теперь мы живем общей с ними жизнью. Их святыня — наша святыня.

Переживаемые нами дни переоценки всех ценностей характеризуются прежде всего полным посрамлением того практического материализма, который накануне войны казался господствующим в жизни. Теперь, когда люди массами идут на вольную страсть и добровольная жертва жизнью стала явлением привычным, заботиться об удобстве и комфорте становится прямо постыдным. Пожертвования в пользу раненых и пострадавших от войны текут рекой; люди, отказывающие себе во всем и жертвующие всем своим достоянием, перестали быть редким исключением! А те, кто не имеют денежных средств, отдают на общее дело свой труд.

Вообще перед лицом смерти, которая косит людей сотнями тысяч, отношение к богатству в корне меняется. Тем, кто идет в огонь, оно мало приносит пользы. А те, кто теряют близких или ежеминутно рискуют их потерять, естественно, задаются вопросом, для кого им его беречь и накапливать!

В такие эпохи забота о средствах жизни уже не заслоняет ее цели. В минуты общего возрождения духовной жизни богатство вновь начинает служить святыне; неудивительно, что именно теперь нам становится близко та красота древних храмов, где одухотворялась самая роскошь земная. Та легкость духа, с которой мы переносимся в их настроение, является новым свидетельством о восстанавливающейся цельности России, о том сверхвременном единстве, которое связует нас с давно отошедшими в одно живое народное целое. В изменившейся исторической обстановке мы видим перед собой все тот же духовный облик России и с новой силой чувствуем над нею все тот же взмах могучих крыльев.

Недавно их действие сказалось в новой победе духа над плотью — в той легкости, с какою наш народный организм выбросил из себя одурманивавший его веками яд водки. И здесь с другого конца сказалось все то же крушение господствовавшего над нами раньше практического материализма. Пробудившееся сознание и просветлевшее чувство народное в одно и то же время возвысилось над очарованием богатства и восторжествовало над соблазнами пьяной, порочной нищеты. В самый разгар войны, угрожавшей жестоким разорением нашей бедноте, нагие одеваются, разутые приобретают обувь, а недавние горькие пьяницы вновь становятся людьми; вот новое красноречивое доказательство могущества той духовной силы, которая на наших глазах созидает новую Россию.

Неудивительно, что в эти дни общего повышения жизни все русское ощущается нами иначе, как бы просветляется и преображается перед нами. Нас как-то глубже захватывает и красота русской природы, и наша своеобразная мелодия, и вся вообще духовная глубина русского искусства. И, что всего важнее, все эти прежде отрывочные переживания и впечатления связуются во единый, целостный образ России. Все это становится нам дорого, как никогда: в нас повышается чувство бесконечной ценности всего того индивидуального, незаменимого, единственного в своем роде, что есть в этом лице

народном. Оно и понятно: теперь чувство к своему народу во многом напоминает чувство к близкому человеку, которого мы провожаем на войну. Тут есть то же противоборство двух чувств — двух влечений: желания во что бы то ни стало сохранить целостность России и желания видеть ее украшенную тем венцом, который венчает опасный и трудный подвиг.

И именно во внутреннем согласии этих двух, казалось бы, несогласимых влечений заключается та глубочайшая тайна о человеке и человечестве, которая открывается нам в эти дни. Такова природа человеческой души: чем больше повышается для нас духовная ценность индивидуального, единственного в своем роде в человеке и в народе, тем глубже мы чувствуем связь этого индивидуального с чем-то высшим, всеобщим, от чего оно получает свой смысл и значение. Что останется от яркой индивидуальности какого-нибудь Ахилла, Зигфрида или Ильи Муромца, если мы отнимем у них все то, что делает их народными героями? Не ясно ли, что вместо индивидуальности останутся бледные призраки, бескровные тени. Оно и понятно: могучая народная стихия и есть то, что питает яркую человеческую индивидуальность; человек безнародный — по тому самому человек безличный и бесцветный.

То же верно и относительно индивидуального в народе: и оно получает свое содержание и смысл от всеобщего над ним, от чего-то сверхнародного, общечеловеческого, что связует народы в одно целое. Если мы откинем общечеловеческое, то тотчас превратится в ничто и то индивидуальное, что мы ценим в народе. Все только что упомянутые народные герои — Ахилл, Зигфрид и Илья Муромец — представляют собою лишь индивидуализированные народные варианты общечеловеческих типов. То же самое может быть проверено на любом ярком произведении национального творчества. Возьмем ли мы какой-нибудь памятник готической архитектуры или церковь Иоанна Предтечи в Ярославле, «Илиаду» Гомера или «Фауста» Гёте, мы неизменно увидим, что в основе этих произведений лежит какой-либо общечеловеческий мотив, сообщающий им их мировое, всеобщее значение; и только своеобразный способ разработки этого мотива, то своеобразное сочетание неуловимых тонов, в котором он воплощается, носит на себе ярко национальную окраску. В конце концов народности суть разветвления единого общечеловеческого ствола. Этим

объясняется тот поразительный факт, что углубленное, одухотворенное восприятие народного духа повышает чувство общечеловеческой солидарности. К этому пределу неизбежно приводит совершающийся на наших глазах подъем духовный, когда он достигает высшего своего напряжения.

Кто не помнит захватывающего описания Рождества в окопах на западном фронте, когда англичане и немцы, выйдя из траншей, обнимались и вместе пели рождественские гимны! Это откровение любви и всечеловеческого единства на поле сражения, где царит раздор и ненависть, представляется чем-то непонятным, невозможным. И, однако, невозможное свершилось, и в этом обнаружилась та логика духовной жизни, которая выше и глубже логики рассудка.

Дух дышит где хочет: он не знает ни территориальных, ни этнографических пределов; никакими искусственными барьерами, укреплениями и орудиями не могут быть остановлены его порывы. Из недр войны рождается этот могучий протест жизни против всеразрушающей силы смерти. Но жизнь, когда она утверждает себя, всегда стремится прежде всего восстановить целостность живущего. Чем больше война повреждает общечеловеческое единство, чем могущественнее та взаимная ненависть народов, которая стремится разорвать его на части, — тем сильнее ответное действие той духовной силы, которая стремится к восстановлению целостности человечества. Этим объясняется тот с первого взгляда парадоксальный факт, что именно во время войны чувство общечеловеческой солидарности достигает того высшего напряжения, которое в мирное время едва ли возможно.

Тут мы имеем одно из самых поразительных современных явлений: ведь война возникла именно потому, что в плоскости материального бытия народы безнадежно разделены между собою несовместимыми интересами. Еще так недавно, в начале этой войны, германские публицисты опровергали ее правом немецкого народа на «лучшее место под солнцем» и на господство над другими народами. И вдруг именно там, где национальная исключительность, а с нею вместе и национальная ненависть, казалось бы, должна достигнуть высшей своей точки, у людей спадает повязка с глаз: на поле сражения им открывается иная плоскость бытия, где солидарны оба враждующих стана. Тут мы имеем победу духа, которая разом

ниспровергает весь тот плоский идеал, который посеял вражду между народами. И там, где смерть утверждает свое владычество, враги вместе поют гимн той силе, которая победила смерть.

В этом новом мироощущении заключается одно из наиболее ясных откровений духовного смысла настоящей войны.

Я вовсе не склонен умалять тех важных политических задач, которые ставятся и разрешаются этой войной, и тех внешних результатов, какие могут быть ею достигнуты. Об этом я достаточно говорил в других моих публичных чтениях. Да будет же мне позволено указать сегодня на то, что бесконечно выше и значительнее всяких внешних завоеваний, на то духовное пробуждение, которое совершается на наших глазах.

Мы вошли в жизненное соприкосновение с мирами иными. Нам были явлены духовные силы, доселе нам неведомые и невидимые. Их действие остается скрытым от человека, поглощенного заботой о своем материальном благополучии. Но вот теперь, когда мир тонет в крови и пронесшийся над нами огненный вихрь превращает человеческое благополучие в ничто, — слепые стали видеть, а глухие — слышать. Нам открывается грядущая победа духа над хаосом. Словно среди грозы и бури небесная молния на краткий миг озарила мир, и мы увидали его в новом свете. Постараемся же, пока не поздно, закрепить в памяти то, что мы увидали. Иначе скоро виденье потускнеет, скроется от взора. А между тем оно нам нужно как источник бодрости для той многотрудной созидательной работы, которая наступит после войны.

Когда, по окончании нынешнего грозного периода истории, по-прежнему потянутся однообразной чередой серые, чеховские дни, человеческая жизнь снова будет подавлять нас своей мелочностью, ничтожеством и видимым бессмыслием. Но не будем складывать рук и предаваться малодушию. Лучше воскресим в памяти тот прекрасный, осмысленный лик грядущего человечества, который явился нам теперь, тот таящийся в человеке героизм, который в дни великих испытаний поднимает его из ничтожества, и все те бесконечные возможности, которые были нам явлены. Среди внутреннего разлада и розни, которые будут смущать нас тогда, вспомним тот одухотворенный образ единой, целостной России, который мы видим теперь. А когда, среди разгоревшейся вражды племен, снова начнут

скопятся грозовые тучи, — вспомним, что некогда в грозе и буре людям явилось откровение единого, целостного человечества.

Над открывшимся на земле адом мы увидели ту силу, которую ад не одолеет, ту самую, которой принадлежит будущее. Ее действие — везде одно и то же: и в человеке, и в народе, и в человечестве она утверждает жизнь против смерти, целость живого против разрушения. На наших глазах она воплотилась в ряде ярких, поразительных явлений. И в этом предварении ее грядущей окончательной победы заключается тот смысл настоящей войны, который мы навсегда должны сохранить в памяти. Суд высшей правды над человеком и над миром открывается не в будничные времена, а в великие исторические эпохи — в дни высшего подъема сил духовных.

Есть дивный поэтический образ, который как нельзя более ярко олицетворяет самую сущность наших современных переживаний. Это — древнее сказание о городе Китеже, чудесно спасшемся в дни татарского нашествия. Геройски пали его защитники; но, по молитве святых, рука Всевышнего покрыла город; он стал невидим и не откроется до самого пришествия Христова: только прошедшие через многотрудный подвиг любви и самоотвержения слышат колокольный звон невидимых церквей и видят их умными очами.

И вот теперь мне кажется, что сказание становится былью. Душе открылись невидимые храмы, и ухо явственно слышит их звон, зовущий к радости. Он возвещает нам победу смысла над бессмыслицей и торжество жизни над смертью.

## Великая революция и кризис патриотизма.

События германской революции бросают неожиданно яркий свет на то, что совершается у нас, в России. То, что до сих пор многим из нас казалось исключительно русским, теперь оказывается общим, мировым.

Мы склонны были до последнего времени объяснять крушение русской государственности чисто местными причинами, — чудовищным вырождением русского абсолютизма, «распутицей», «отсутствием патриотизма» у русского народа — словом, болезнями, одним нам свойственными. И вот, на наших глазах, тот же недуг заразил Австро-Венгрию, Германию и грозит заразить весь мир.

Конечно, есть черты отличия между происходящим у нас и у наших соседей, но в общем, существенном есть поразительное сходство. Везде революция есть дитя войны. Отсюда — целый ряд явлений, повторяющихся всюду.

Везде мы видим революцию по преимуществу военную, солдатскую; всюду сила «вооруженного народа», раньше служившая целям защиты государства против внешнего врага, становится или грозит стать источником величайшей внутренней опасности. И, наконец, одно и то же парадоксальное превращение совершается в Германии и в России: из милитаризма рождается большевизм.

Тут есть прямая логическая и жизненная связь. Всеобщая воинская повинность в дни войны призвала к оружию весь народ, а большевизм использовал это всеобщее вооружение в целях войны классовой, гражданской. Оружие, выкованное современным милитаристическим государством, обратилось против него. Это — естественное последствие милитаризма, его Немезида. Нужно ли удивляться, что и в России, и в Германии, и в Австрии он привел к одной и той же катастрофе?

Современное империалистическое государство не только создало тот технический аппарат, без коего большевизм не был бы возможен: оно посеяло тот соблазн, из которого большевизм родился. Уже задолго до начала мировой войны войной были отравлены все взаимные отношения народов: к ней все готовились, все вооружались с

головы до ног для взаимного истребления; ради нее все платили неимоверную тяжесть налогов. Самый мир народов был, в сущности, лишь перемирием. В нем чувствовался тяжкий гнет войны грядущей.

Война господствовала над всею государственной жизнью, давала ей содержание и цель. Все воспитывались в мысли, что эти приготовления и жертвы нужны для спасения народа. Вместо того они привели к всемирной катастрофе, которая поставила народы Европы на край гибели. Война обнажила бессмыслицу современной государственной жизни: она создала ту тяжесть страданий, за которую не в состоянии вознаградить никакая победа. Военное государство нового времени утратило свое оправдание: оно оказалось грандиозным обманом; тем самым над ним был произнесен его смертный приговор. Когда в широких массах возникло подозрение, что их годами готовили к бессмысленной бойне, они вывели отсюда заключение, что подлинный их враг не внешний, а внутренний и что для борьбы с этим врагом должно быть использовано данное народу государством вооружение. Тогда совершился тот поворот войны фронтом внутрь, который год тому назад ясно определился в России, а теперь уже совершается на наших глазах в побежденных центральных державах.

## II

Теперь мы видим, до чего поверхностно то ходячее воззрение, которое объясняло события «русской революции» специфически русским отсутствием патриотизма и противопоставляло русскому космополитизму «патриотический подъем» Германии. Объяснение это одинаково несправедливо и по отношению к русским, и по отношению к немцам. Беспристрастный обзор событий показывает, что как подъем, так и упадок патриотизма не составляет ничьей монополии.

Тех, кто говорит об изначальном отсутствии патриотизма у русского народа, я прошу вспомнить наше общественное настроение 1914, 1915 и 1916 годов. В ту пору русские войска спасли Париж своим походом в Пруссию, дважды разгромили Австрию, а в 1915 году совершили без ружей и без снарядов изумительное отступление перед вооруженным с головы до ног противником и в самых тяжких обстоятельствах сумели сохранить внутреннюю боевую силу. Все эти факты служат доказательствами могучего национального подъема: в то время мы все его испытывали. Потом, вследствие обстоятельств, всем известных, после подъема наступил упадок. Но, разве не упадок

национального чувства то, что мы видим теперь в Германии? «Подъем» у немцев был могущественнее и, во всяком случае, продолжительнее, чем у нас; но, во всяком случае, упадок у них не слабее нашего, и выражается он совершенно в тех же явлениях, как и в России.

Читая немецкие газеты в первые месяцы революции, нередко приходилось испытывать впечатление, словно немцы, еще столь недавно воодушевленные и объединенные лозунгом Deutschland, Deutschland uber alles (Германия превыше всего), забыли и про родину, и про внутреннюю угрозу ее безопасности: они сосредоточились исключительно на мысли о враге внутреннем. Для одних этот внутренний враг — «господствующие классы», которые хотят отнять у народа «все завоевания революции». Для других это, наоборот, — «группа Спартака» или, попросту говоря, «большевизм», сильно распространенный среди матросов, могущественный в Гамбурге и в особенности — в Берлине. Характерно, что в Германии, как и у нас, главным центром большевизма оказался наиболее могущественный центр прежней государственной жизни, он же и центр милитаризма. И как у нас Москва, так в Германии Берлин служил предметом ужаса менее радикально настроенных областей. На этой почве у немцев быстро возрастал сепаратизм, вызванный теми же мотивами, как и у нас. Как в России главным мотивом отделения Украины, Финляндии, Дона был страх «большевицкой Москвы», так и в Германии рейнские провинции и южнонемецкие государства мечтали отделиться, «чтобы только не быть с Берлином». Дело доходило уже до переговоров этих частей Германии о сепаратном мире с неприятелем; газеты по этому поводу выражали опасение, что грозит возврат к средневековому дроблению немецкого государства, и пугали социалистов грядущей англо-французской оккупацией, которая «уничтожит все завоевания революции». Между строк в этих увещаниях чувствовалось желание некоторых групп, чтобы завоевания революции были в самом деле отняты и чтобы порядок был обеспечен кем угодно, хотя бы французами. Даже умеренные социалисты начинали мечтать о расширении зоны англо-французской оккупации «в целях сохранения порядка». Этот успех «союзнической ориентации» в Германии — одно из наиболее пикантных и вместе неожиданных современных явлений.

Патриотизм в Германии, как и в России, теперь подтачивается с двух сторон, борется с двумя противниками. Это, во-первых, старый рабочий интернационализм, который вдохновляется лозунгом Маркса — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», во-вторых, интернационализм буржуазный, который следует противоположному, еще не высказанному, но тем не менее действительному девизу: «Буржуи всех стран, соединяйтесь». В этих двух девизах выражаются два основных современных фактора — разложения государства и разложения нации.

По существу интернационализм не имеет ничего общего с национализмом и составляет прямую его противоположность. Но в наши дни чисто классовые интересы нередко побуждают его надевать националистическую маску. Разве мало теперь людей, всем своим существом чуждых украинству, которые заявляли себя сторонниками украинской самостоятельности ежедневно потому, что они ждали от Петлюры и Винниченко раздела помещичьих земель и имущественного уравниения. А немного раньше, при гетмане, к «украинизму» нередко побуждали классовые мотивы противоположного свойства. Разве мы не знали между недавними империалистами из русских и даже москвичей людей, которые вчера заявляли себя «украинцами», а сегодня готовы быть чем угодно — финляндцами или украинцами, чтобы только не быть москвичами и подданными Ленина! Собственно говоря, это буржуазный интернационализм. Тот факт, что он подделывается под национализм и для этого облекается то в синий жупан, то в иной национальный костюм, не должен вводить в заблуждение. Следует строго отличать этот фальшивый, лицемерный национализм от подлинного патриотизма, который отличается от него, как день от ночи.

И в России, и в Германии в наши дни классы нередко меняются ролями: вчерашние централисты становятся сепаратистами, и наоборот, по классовым мотивам вчерашние анархисты становятся централистами. Так, в Германии в числе приверженцев централизма мы видим теперь на первом плане сторонников социализации орудий производства: они утверждают, что для осуществления социализма в широком масштабе нужно сохранить могущественный государственный аппарат прежней империи. Левый немецкий социализм централистичен по тем же причинам, как и наш московский

большевизм; централистичен будет, без сомнения, и немецкий большевизм, если он когда-либо восторжествует! А к центробежным течениям в Германии теперь нередко присоединяются те буржуазные элементы, которые испуганы перспективой осуществления социализма «в широком масштабе». Это и есть тот класс, среди которого в дореволюционную эпоху насчитывалось всего больше сторонников империализма и пангерманизма.

### III

Как видно из предыдущего, тот кризис патриотизма, который переживает современная Россия, представляет собою, таким образом, ни более ни менее как частное продолжение всемирного кризиса. Тот факт, что этот же кризис переживается и Германией — страной, по-видимому, явившей миру столь яркие образцы патриотического воодушевления, доказывает, что дело тут вовсе не в изначальном отсутствии патриотизма. До сих пор единая Германия была для немцев земным божеством, идолом, которому они поклонялись. И вот теперь этот идол пошатнулся: его начали растаптывать многие из его вчерашних поклонников. Чем это обуславливается? Очевидно, тем, что в самом существе этого патриотизма есть какой-то изъян, делающий его неспособным выдержать тягчайшие испытания.

В самом подъеме патриотизма, который так или иначе переживался всеми воюющими народами, таился зародыш последующего кризиса. Между этим подъемом и упадком наших дней есть прямая жизненная связь. Такая же точно связь есть в живом организме между болезненным подъемом температуры и последующим крайним ее падением во время кризиса. И подъем, и падение тут служат симптомами одной и той же роковой смертельной опасности. Причинная зависимость этих двух явлений совершенно очевидна. Падение температуры наступает вследствие истощения сил, вызванного их подъемом.

Очевидно, что в видимом подъеме патриотизма воюющих народов скрывалась некоторая всем им общая, всемирная болезнь, которая и была обнаружена войною. В чем же она заключалась?

Причина разгоревшейся у нас и у наших соседей анархической смуты заключается, очевидно, не в том, что война потребовала от народов небывалых, неслыханных жертв. Раньше бывали войны и более продолжительные, длившиеся десятками лет, и в дни военных

бурь Родина всегда требовала от своих сынов высшей жертвы — отдачи имущества, жизни и даже готовности идти на пытки. Если теперь народы не выдерживают тяжести этих испытаний, это обуславливается, конечно, появлением в наши дни нового соблазна, неведомого предшествующим поколениям. Переход войны международной в войну классовую ясно показывает, что это за соблазн.

В критическую минуту люди променяли Родину на классовую выгоду. Обещание земного рая за счет имущих классов — вот искушение, которому народы подвергались и раньше, но которому оказались не в силах противостоять народы современные, — все те народы, у которых революция совершается, и все те, у которых она еще совершится. Утрата духовных ценностей, экономизм, для которого рай чувственный, материалистический есть высшее, безусловное, — вот та всемирная болезнь, которая подточила национальное чувство и у нас, и в Германии, и в Болгарии. Кто знает, остались ли еще на свете народы, совершенно недоступные этой заразе?

Не со вчерашнего дня она появилась, и не в одних только коммунистических теориях она выражается. Большевизм, открыто исповедующий и преподающий в школах материалистическое миропонимание, — прямой преемник и продолжатель современного империализма... Отчего возникла мировая война? Оттого, что раньше большевистских агитаторов империализм манил народы перспективами земного рая, оттого, что одни народы стремились «к лучшему месту под солнцем» за счет других народов, раньше захвативших лучшие места. Разве не ту же самую цель преследует теперь война гражданская? Что такое большевизм, как не то же искание лучшего места «под солнцем» за счет других людей, та же беспощадная, бесчеловечная и бессовестная борьба за существование, которая составляет содержание идеала империалистического? Только на место «нации» завоевателем становится класс!

Недавно в речи, сказанной на собрании демократической партии, известный германский профессор Вебер указывал на забвение духовных ценностей как на главную причину крушения современной Германии. Изобличая плоский житейский материализм, обуявший всю государственную и общественную жизнь, он находил, что внешняя политика Германии стала чем-то вроде лошадиного барышничества, а

политика внутренняя стала похожа на торговлю рогатым скотом (Kuhhandell — торгашество — нем.).

В этих словах есть глубокая правда! То распадение государства и нации на враждующие классы, которое замечается теперь во всех объятых революционным пожаром странах, составляет прямое последствие господствующего в общественной жизни материалистического жизнечувствия. Я говорю здесь не о материалистическом учении, а о материализме практическом, житейском. В самом деле, в области интересов материальных, экономических, отдельные общественные классы и отдельные лица безнадежно разделены между собой. Имущие и неимущие, хозяева и рабочие, землевладельцы и земледельцы могут составлять единую нацию, лишь поскольку они связаны между собою некоторым духовным единством, которое возвышается над противоположными экономическими интересами, некоторой общей национальной святыней, во имя которой и класс и личность должны поступаться своими выгодами.

Где же, однако, теперь эта общая людям святыня? Разве мы не живем в эпоху крушения всяких святынь, всяких духовных связей между людьми? Разве люди, которые мечтают о «социалистическом» или о «буржуазном» отечестве, не утратили самое понятие отечества? Для подлинного, почвенного патриотизма «отечество» — это «земля отцов», земля, которую с великими трудами и жертвами собирали и устроили предки, земля, освященная великим страданием и подвигами предшествующих поколений, орошенная их кровью, а потом согретая великою, святою любовью. Такое отечество мы любим, как нашу мать или как нашего отца, любим просто, бескорыстно, не задаваясь оскорбительным вопросом о выгоде, которую мы можем из него извлечь. Это — живое чувство солидарности с дорогими, отошедшими; любить родину значит гореть к ней сердцем независимо от того, сулит ли она нам радость или страдание.

Увы, именно этого горения сердца мало, слишком мало в современном национализме; и оттого-то он оказался столь непрочным и столь бессильным в борьбе с интернационалистическими течениями! То, что называется в настоящее время «патриотизмом» или «национализмом», далеко не всегда здоровое и бескорыстное чувство. Современный национализм насыщен экономизмом, отравлен тем

«барышничеством», о котором говорит профессор Вебер. — Эта отравка и есть то, что в наши дни всего более дискредитирует национальное чувство.

Разве мало на свете патриотов, которые любят отечество потому, что оно является для них выгодною аферой! Разве мы не наблюдали этот патриотический аферизм и в России, и в Германии? И разве не он поставил эти недавно цветущие страны на край гибели? О чем мечтали люди, твердившие на все лады Deutschland, Deutschland uber alles: о новых рынках, территориях, портах и путях сообщения, иначе говоря, о всемирном владычестве германского капитала. Этот соблазн заражал всех; им прельстились не только имущие классы, но и рабочие массы, которые воодушевились войною, как способом подчинить другие страны экономическому господству Германии! Этот шовинистический подъем не был здоровым, бескорыстным патриотизмом, и вот почему он кончился таким постыдным крахом.

Нужно ли доказывать, что и в дореволюционной России было сколько угодно образчиков такого же делового, коммерческого патриотизма. Патриотизм был связан с разнообразными выгодами для господствующего племени — с привилегиями по службе, со всякого рода экономическими преимуществами; на нем делали карьеру, им же пользовались, чтобы наживаться на счет инородцев, скупать по дешевой цене польские имения и брать взятки с евреев. Нередко в форму шовинистических еврейских погромов облакались те самые социальные инстинкты и аппетиты, которые потом нашли себе удовлетворение в большевизме.

Вообще говоря, большевистское понимание «социалистического отечества» представляет собою естественное превращение корыстного «патриотизма» низшего сорта, ибо для него «отечество там, где выгодно». «Социалистическое отечество» — это то государство, которое отдает рабочему фабрику, крестьянину — землю, а «бедноте» — все прочее достояние имущих классов. Это — отечество для тех, кому оно дает щедрые подарки. Соответственно с этим в «социалистическом отечестве» классы меняются ролями: «Людьми без родины в нем оказываются не пролетарии, а буржуа».

В общем, основная причина кризиса патриотизма и у нас, и в Германии — одна и та же. Когда любовь к Родине отравляется корыстью, когда отечество становится аферой, оно ничего не говорит

ни сердцу, ни чувству долга: раз оно перестает быть святыней, его совершенно дозволительно променять на другую аферу, более выгодную. Это и есть причина, почему нации, еще так недавно могущественные и, казалось бы, крепко спаянные, теперь стоят перед опасностью полного распыления: экономизм, обуявший народные массы и не сдержанный какими-либо нравственными началами, грозит разорвать не только связь национальную, но и всякую вообще общественную связь между людьми. Где люди связаны между собою только выгодами, там «человек человеку — волк» в буквальном смысле слова. Если, действительно, предпочесть отечеству выгоду классовую, то во имя чего должен человек жертвовать для своего класса выгодой личной? Чем классовый эгоизм лучше эгоизма индивидуального? Почему стая хищных волков заслуживает предпочтения перед волком одиноким? Тот практический материализм, который все более и более завладевает жизнью, в корне разрушает общежитие, а потому грозит довести человеческое общество до последних ступеней разложения.

В России это падение выразилось прежде всего в полном забвении идеи нации. Когда началось у нас постыдное бегство с фронта, открывшее врагу дорогу в центр России, калужане говорили: «Мы калужские, нам моря не нужны», а в то же время и саратовские утешали себя тем, что «до Саратова немец не дойдет». И, что всего ужаснее, в эти дни крушения Родины настроение народных масс было праздничное, ликующее, народ радовался «завоеваниям революции», иначе говоря, тем подачкам, за которые он отдал отечество, — лишней десятине земли для крестьянина, прибавке платы и сокращению рабочих часов для рабочего. Невольно вспоминается одна мрачная характеристика, данная римскому обществу в век падения Западной империи, в дни вторжения в нее варваров. По словам Сальвиана — писателя того времени, «римский народ умирает и хохочет» (*moritur et ridet*). — Не у нас одних наблюдалось это радостное настроение в минуту величайшей опасности. Германские газеты совершенно теми же словами характеризуют настроение первых дней революции: «Народ ликует», «народ полон радостного энтузиазма», «народ торжествует великую победу революции». Это все та же корыстная радость о грядущем классовом благополучии в минуту величайшей национальной катастрофы. И так же, как у нас, она не нарушалась ни

угрозой вражеской оккупации, ни перспективой полного внутреннего распада государства. Баварцы, жители прирейнских провинций, оказываются неожиданно похожими на «калужских и саратовских».

#### IV

Теперь нам становится понятным то обращение войны фронтом внутрь, о котором я говорил в начале этой статьи. В напряженной борьбе за жизнь обнаружилось и светлые и темные возможности, таившиеся в воюющих народах. С одной стороны, война вызвала подвиги самопожертвования и любви, проявления высшего героизма в избранных, лучших людях. Но, с другой стороны, она пробудила зверя в человеке, обнаружила и разнуздала в нем ту сатанинскую силу зла, которая в мирное время сдерживается страхом перед властью. И зло оказалось сильнее добра, главным двигателем войны был все-таки коллективный эгоизм, а не бескорыстные побуждения. Отсюда — все те стадии общественного разложения, которые были вызваны войною у нас и у соседних с нами народов.

В международных отношениях господствует тот же закон кровавой борьбы за существование, который царствует в низшей природе. Перед каждым народом ежеминутно становится альтернатива — поедать других или самому быть съеденным. К этой общей причине сводятся и войны, вызванные экономическим соперничеством, и войны превентивные. Но в дни падения духовных ценностей всякие связи между людьми становятся столь же шатки и непрочны, как и связи международные. При этих условиях всякий экономический антагонизм может стать источником войны, и прежде всего — антагонизм классовый, который во многих отношениях острее и глубже антагонизма международного.

Та социальная революция, которая происходит у нас и в соседних странах, представляет собою неумолимо последовательное превращение мировой войны, применение ее начал ко всем сферам общественной жизни. Международная политика, приведшая к войне, велась на началах готтентотской морали: добро — это когда я украду коров, а зло — это когда их у меня украдут. Нужно ли удивляться, что в конце концов эта мораль обратилась против тех государств, которые ее применяли. Если хороши все те средства, которые служат пользам и выгодам моего народа, то почему же под «моим народом» должна подразумеваться непременно нация, а не класс? С точки зрения

господствующего в наши дни материалистического жизнепонимания, нет решительно никаких оснований предпочитать эгоизм национальный эгоизму классовому: марксисты вполне последовательны в своем утверждении, что на свете существуют только две нации, борющиеся между собою не на жизнь, а на смерть, — капиталисты и пролетарии.

Поэтому нечего удивляться, что теперь на наших глазах во взаимных отношениях этих двух «наций» применяется та самая готтентотская мораль, которая раньше господствовала в международных отношениях. Добро — это то, что служит пользе пролетариата, а зло — все то, что ей противоречит. В этом положении — вся сущность большевизма. Исходя из него, большевики применяют и проводят во внутренней политике все те лозунги, во имя которых велась до сих пор война международная. «Польза» пролетариата, как она понимается большевиками, требует беспощадной войны против буржуазии — войны до полного ее истребления. И вот советская власть в Москве провозглашает «войну до победного конца»; прошлой зимой я читал в одном большевистском воззвании, что, покуда жив хотя бы один помещик, капиталист или офицер, «социалистическое отечество в опасности».

Все мы помним, как немцы, наиболее последовательно проводившие на практике «мораль войны», объявили всякие соображения справедливости и человечности в отношении к врагу «сентиментальностью и бредом», как на этом основании они признавали недействительными всякие международные обязательства и объявляли договоры «клочком бумаги». В этом отношении большевики — достойные ученики и подражатели немцев: но только для них тот «неприятель», в отношении к которому все дозволено, не какое-либо иное племя, а буржуазия всех стран. По отношению к ней большевики до мелочей усвоили все выработанные войной приемы и всю военную терминологию наших дней. «Заложники», «реквизиция», «аннексия помещичьих земель», «контрибуция с капиталистов» — все эти ходячие термины большевистской внутренней политики заимствованы из германской военной практики. И это неудивительно. Несмотря на лицемерный пацифизм большевизма, война составляет его сущность, его душу. У него нет никакой другой программы, кроме

войны против имущих классов, и никакого иного способа действия, кроме вооруженного насилия.

В чем заключается наиболее яркая черта государственной жизни большевистского Севера? В том, что он обратился целиком в один военный лагерь, и в том, что там война внутренняя, война беспощадная, проникла в каждую деревню и в каждую семью. В деревнях идут непрерывные бои между трудящимся крестьянством, которое именуется «кулаками», и кабацкой голью, которая выступает под именем «бедноты». А о том, что происходит в семьях, свидетельствует следующий случай, который мне пришлось наблюдать в Москве в дни октябрьского большевистского расстрела. Отец принадлежал к правящим большевистским сферам, мать была кадетка, а сыновья — офицеры — сражались в рядах добровольцев против большевиков.

Таковы те благоденствия, которые большевизм сулит не одной России, а всему миру, ибо по самой своей сущности он — всемирно-завоевательное движение. Новая мировая война составляет для него жизненную необходимость. В самом деле, тот коммунистический строй, который проводится большевиками в жизнь, существует или везде, или нигде. Пока он осуществляется в одной России, он представляет собою чистейшую утопию. Если мои капиталы и недвижимость конфискованы в Москве, а в то же время я могу владеть и тем и другим в Киеве, в Лондоне или Париже, это значит, что и в Москве не существует ни равенства, ни коммунизма в точном смысле слова. Всякие попытки осуществить коммунизм в России при этих условиях ведут только к эмиграции из нее капитала в другие несоциалистические страны, т. е. к полному ее обнищанию. Нельзя говорить о коммунизме в Совдепии и в том случае, если все проживающие в ней иностранцы, в силу международных договоров, должны пользоваться всеми правами индивидуальной особенности на капитал и на землю. Для осуществления коммунизма в России, следовательно, необходимо, чтобы он был осуществлен во всем мире. А это достижимо лишь путем всемирной войны, точнее говоря, путем перенесения гражданской войны во все страны вселенной. Этим предрешается грядущая судьба большевизма. Зажечь мировой пожар, возбудить новую всеобщую войну для него — единственный якорь спасения. Он или сам погибнет, или же сделает во всем мире то, что он

сделал в России, т. е. поставит в каждом городе и деревне брата на брата и отца на сына. В какой мере те или другие страны мира подвергнутся большевистской заразе, этого мы пока предрешить не можем. Одно представляется достоверным: движение, коего все содержание сводится к войне и насилию, есть сила только разрушительная, а не созидательная; поэтому оно в самом себе носит зародыш собственного разрушения и гибели.

Большевизм, несомненно, болезнь эпидемическая, но, как и все эпидемии, она имеет определенный срок течения, после которого яд должен потерять свою силу. Нам предстоит теперь поговорить о тех признаках грядущего исцеления, которые уже намечаются изжившей большевизм Северной Россией.

V

В качестве силы, разлагающей общество на непримиримые классы, большевизм есть фактор общественного гниения. Соответственно с этим и вопрос, на который нам предстоит ответить, ставится таким образом. Есть ли у нас живые общественные силы, на которые возможно опереть будущее государственное строительство? Возможен ли у нас тот, хотя бы временный, классовый мир, который для этого требуется? За неимением данных относительно других стран приходится пока ставить этот вопрос не в мировом, а только в русском масштабе.

Перспективы земного рая, коими большевизм соблазняет народные массы, — не более как обольстительный мираж, который манит издали. Как только мы подходим к нему вплотную, мнимый рай превращается в ад, ибо, прежде всего, это — царство всеобщей взаимной ненависти, где идет нескончаемое междоусобие: миллионы завистливых очей следят там за всяким приростом человеческого благополучия. Стоит, например, какому-нибудь трудолюбивому хозяину из крестьян сколько-нибудь улучшить свою долю, как тотчас он попадает в категорию «кулака» и тем самым обрекается на ограбление. Всякий стимул к труду и приобретению тем самым убит. Отнятые у помещиков поля остаются незасеянными, а подвоз продовольствия извне становится невозможным вследствие войны со всеми некоммунистическими соседями, на которую роковым образом обрекает себя большевистское царство. Так идеал всеобщей сытости

рождает голод: это не случайность, а необходимая принадлежность всего большевистского общественного строения.

Из голода и ненависти рождаются восстания, которые в Совдепии становятся неизбежно злом хроническим; восстания эти подавляются пулеметами и снова вспыхивают. «Социалистическое отечество» находится в состоянии непрерывной опасности и потому непрестанно требует жертв от своих граждан, но в обществе, где все строится на эгоистическом расчете, о жертвах добровольных — по чувству долга или бескорыстной преданности — не может быть и речи. Да и кому может быть дорого «отечество», превращающее человеческое общество в зверинец? Оно привлекательно издали для тех народных масс, которые его не изжили, и отвратитель ускользает от поверхностного наблюдения. Зарождается мощное религиозное движение, всю свою сущность и всеми своими историческими корнями глубочайшим образом связанное с движением национальным. Наблюдается явление, столь часто повторяющееся в истории. Крушение материального благополучия становится стимулом духовного возрождения; сытое довольство часто ведет к полному угасанию духовной жизни. Наоборот, страдание выковывает силы духовные; разочаровавшись в материалистических упованиях, люди испытывают тоску по утраченным святыням.

Из местностей, отвоеванных донцами у большевиков, в Воронежской губ., получались известия, что казаки были изумлены той радостью, которую всюду вызывало их появление. Их встречали крестными ходами, молениями, обильными слезами радости. Эти крестные ходы не то механическое исполнение обряда, к которому мы привыкли. Благодаря гонениям, которым подвергаются на севере церковь, иконы, храмы, крестные ходы приобрели для народа то значение, которого они не имели в течение целых веков. Несмотря на эти гонения, а скорее всего именно благодаря им, чувствуется глубокая непреодолимая потребность народных масс — собраться вокруг церковного стяга. И стяг этот теперь — знамя не только церковное, но и национальное, потому что народ, собирающийся вокруг своих исторических святынь в целях их защиты против насильников, есть олицетворенная противоположность интернационала.

Мне вспоминаются, в частности, московские крестные ходы, происходившие минувшею зимою и весной. Надо их было видеть,

чтобы почувствовать мощь того народного движения, которое в них выразалось. Московская Красная площадь была ими заполнена так, как она не заполнялась никогда в былые времена, даже в дни коронации. С высоты кремлевских стен за шествием наблюдали представители «Совнаркома», которые потом измерили Красную площадь и вычислили, что она вмещает полмиллиона; такого количества революционные шествия никогда не собирали. А при этом, когда организовался первый такой крестный ход — один из самых многолюдных, — участники его не знали, что ждет их на Красной площади — моление или пулемет. В каждом приходе десятки и сотни людей в этот день причащались, готовясь к смерти; многие приходы запаздывали на площадь из-за огромного, небывалого в январе количества причастников. И когда эти массы вступали на Красную площадь, они начинали неудержимо петь «Христос воскрес». Это был как бы переход от смерти, к которой они готовились, — к жизни.

Это был вместе с тем и первый шаг на пути восстановления России как национального целого. Ее разделила классовая вражда.

Но на этой площади, где люди всех званий и состояний пели «Христос воскрес», не было розни, все классовые перегородки были опрокинуты и позабыты. Быть может, именно здесь, во время этих крестных ходов, русские граждане впервые за всю эпоху революции почувствовали себя единым народом. Едва ли не в этом — разгадка той фанатической вражды, которую большевики питают к церкви: она примиряет враждующие классы, упраздняет противоположность буржуев и пролетариев и восстанавливает всенародное единство. Я помню типический случай, когда большевики в Москве закрыли Варваринскую религиозно-просветительную аудиторию, сооруженную православными рабочими. Жалобы рабочих остались без последствий; им было указано, что в названной аудитории восседают за единым столом и мирно беседуют буржуи и рабочие, но что именно этого советская власть допустить не может.

Все эти многочисленные и характерные для народного настроения факты оставались без внимания, а то и вовсе замалчивались нашей периодической печатью. Религиозное движение, совершившееся и в православии, и в иных исповеданиях, осталось совершенно за пределом ее кругозора. А между тем за всю революционную эпоху это, без сомнения, самый крупный исторический факт положительного

значения. В эти дни всеобщего, стихийного озверения только храмы да хоругви, вокруг которых собирались народные массы, напоминали им, что они — люди, а не шакалы; только на этом могут основываться и все надежды на будущее государственное строительство России. Нельзя составить государство из людей, для которых встретиться — значит пожирать друг друга. Для государственности нужно очеловечение общества; нужна сила, которая подняла бы людей над материальными интересами; нужно, чтобы им открылась область чистых бескорыстных побуждений. Не какая-нибудь выдуманная теоретиками «гражданская мораль» может одержать эту великую победу над зверем в человеке; для этого требуется тот могущественный духовный подъем, который не боится мучений. И он у нас явился.

И государственное, и общественное строительство возможны лишь при одном условии: должны быть восстановлены духовные основы разрушенного общежития. Пока не сделано это первое, основоположное дело, бессильна и политика, и оружие: всякое общественное строение обречено на разрушение, кто бы его ни строил — Учредительное Собрание, директория или единоличная власть диктатора. Восстановление духовного единства нации осуществляется не законодательными и административными мерами, а внутренним жизненным процессом, который совершается в душе народной. Я не решаюсь утверждать, что этот поворот от смерти к жизни уже совершился. Но, всматриваясь в народные настроения Севера, я не сомневаюсь, что он совершается.

## VI

Тут мы сталкиваемся опять-таки с крупными историческими фактами, которые систематически замалчиваются нашей печатью вследствие невероятного непонимания, или, скорее, невнимания к явлениям духовной жизни. Вследствие этого широким общественным кругам осталась совершенно неизвестною огромная организационная работа всероссийского церковного собора. А между тем она была не только актом церковного строительства, но и вместе с тем и великим национальным делом.

Тут совершился один из тех парадоксальных фактов, которые так часто повторяются в истории духовной жизни народов. В дни мирского благополучия при царской власти церковь находилась в состоянии

глубокого унижения и упадка. Наоборот, катастрофа мирского порядка оказалась для нее началом творческой работы и подъема. В минуту, когда все кругом разлагалось и рушилось, церковь стала собираться и возрождаться из развалин. Я не стану здесь говорить о том, что было чисто церковного в этой работе, которая перестроила все церковное управление на началах автономии и соборности. Я скажу только о том, что было сделано для собирания России, для русского национального единства.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо принять во внимание ту историческую обстановку, среди которой собор работал. Со всех сторон получались известия о растущей анархии и смуте, о трусливом бегстве армии с фронта, о массовых избиениях офицеров и интеллигенции, о мученичестве зверски избиваемых служителей алтаря и о полном распадении России. Понятное дело, вся работа собора явилась ответом на эту разруху. На первый план сама собою выдвинулась мысль о восстановлении того духовного единства, которым некогда держалась рассыпанная ныне храмина России. Пробудились исторические воспоминания о том, как некогда русская земля собиралась вокруг алтаря, как св. Сергей вдохнул в нее мужество, чтобы сбросить татарское иго, и как в XVII веке среди великой смуты, во многом подобной нынешней, явился духовный вождь в лице патриарха Гермогена, который также сумел вдохнуть мужество в полки Минина и Пожарского.

XVII век действительно богат аналогиями с нынешними временами второй великой смуты. Тогда войско, осаждавшее Троице-Сергиевскую лавру, состояло всего лишь на одну треть из поляков, а на две трети из русского сброда, приманенного обещанием грабежа. То были тогдашние большевики. А в то же время бояре говорили, что лучше Владиславу присягать, чем от своих холопов битую быть. И, несмотря на эти грозные признаки общественного гниения, Россия вышла целою из развалин, потому что жива была духовная сила, которая могла ее воссоздать. Но та же сила жива и теперь: в этом заключалась главная надежда всероссийского церковного собора и руководящий мотив его деятельности; надежда эта выразилась в особенности в важнейших из всех деяний собора — в восстановлении патриаршей власти.

Смута, царившая не только в государстве, но и в церкви, породила непреодолимую потребность в духовном вожде, который был бы вместе с тем и олицетворением духовного единства России как национального целого. Отсюда та непреодолимая «тяга к патриаршеству», которая обозначилась с первых же заседаний собора; при этом под влиянием исторических воспоминаний о смутном времени и о Гермогене самая мысль о патриаршестве связывалась с ожиданием великого подвига самоотвержения, к которому призван будущий духовный глава русского православного народа.

За всю революционную эпоху я не помню ничего подобного тому мощному патриотическому подъему, который чувствовался всеми на соборе. Не забудем при этом, что в нем участвовали люди всех званий и состояний.

Были среди соборян и скептики: они опасались, что восстановление патриаршества поведет к торжеству духовного деспотизма и крушению соборного начала. Они указывали, что не бывает подвижников по должности, что никакая внешняя реформа не в состоянии родить героя, а тем более — духовного вождя. Но тщетны были их предостережения. Влекомый неудержимым порывом, собор не внял их доводам и оказался правым. Значение преобразования превзошло самые смелые ожидания.

Прежде всего, самый факт восстановления патриаршества означал решительный разрыв церкви с многовековой традицией духовного рабства. Ведь в свое время патриаршество было уничтожено именно для того, чтобы лишить церковь всякой самостоятельности. Император Петр I хотел, чтобы не патриарх, а царь был главой церкви. Это и было началом той светской опеки, которая целых двести лет душила церковь в своих объятиях. Восстанавливая патриаршую власть, церковь тем самым, торжественно возвещала свою свободу и независимость от светской власти. Какова бы ни была эта власть, у церкви есть отныне свое собственное возглавие. Но этого мало. С освобождением тут связывался внутренний органический процесс исцеления. Была в возведении патриарха одна символическая подробность, о которой нельзя вспомнить без глубокого волнения. Патриарха выбирали под гром орудийных выстрелов в октябрьские дни московского большевистского восстания.

Это не случайно: избрание патриарха — этого живого олицетворения духовного единства русского православного народа — было прямым ответом церкви на братоубийство и междоусобие, происходившее в государстве. Избранием этим она как бы говорила: «Вот знаменосец, вокруг которого отныне должны собираться все те верующие, которым дорога Россия».

И самое «столование», т. е. интронизация патриарха, происходило в расстрелянном Кремле, под пробитой снарядами главою Успенского собора. При этих условиях оно производило впечатление воистину чудесное. Снаружи соборяне созерцали яркое символическое изображение церкви-собора с поврежденною главою. А внутри, среди общего молитвенного подъема, совершилось чудесное исцеление: в лице патриарха духовное возглавие русской церкви было торжественно восстановлено.

Чтобы измерить необъятное значение этого события, нужно глубоко пережить настроение, среди которого в Москве рождалось патриаршество. Точно в лице патриарха сосредоточилась вся надежда и вся молитва православного народа о спасении России. Вот почему, когда, среди небывалой скорби тех страшных дней, явился народу патриарх, как живой образ лучшего прошлого в древнем облачении и в клобуке XVII века, почувствовалась небывалая, светлая радость. Почувствовалось, что Россия духовно жива, несмотря на царящую кругом смерть и разрушение. Она здесь, в этом собрании молящихся, и мы видим ее духовное единство в живом личном воплощении.

Самый способ избрания патриарха в необычайной мере возвышает его религиозное значение. Имя его указывается жребием из трех кандидатов, избранных собором, и самый жребий вынимается в храме по окончании литургии среди совершаемого всем собором моления. При этих условиях патриарх для верующего православного народа — не избранник людей, а избранник Божий. Кто видел слезы на глазах членов собора, когда во храме Спасителя старец-молитвенник Алексей из Зосимовой Пустыни вынул из ковчега имя патриарха Тихона, кто почувствовал радостный подъем пропетого всем собором «аксиос», — тот поймет, что это — не пустая формула. Для живой веры православного народа, олицетворяемого собором в лице патриарха Тихона, и в самом деле стало явно Божие избрание.

Всем этим объясняется многое в последующей судьбе патриарха. Живая вера, воодушевленная соборная молитва, духовный подъем, рожденный среди великих и тяжелых испытаний, — и есть та нравственная атмосфера, которая делает возможным великое и чудесное. Нужно ли удивляться, что патриарх, избранный в такую минуту, в таком настроении оказался не угрозой свободе церкви, а возглавием и центром ее соборной жизни. Сам он говорил о себе, что он «плоть от плоти и кость от кости собора». Но сверх этого он дал церкви и России еще нечто, что может быть делом собора, — личный подвиг. Сбылись самые смелые ожидания. В лице патриарха Тихона второе «смутное время» и в самом деле нашло своего Гермогена: в этом едва ли не самое чудесное из современных переживаний.

Для самих избирателей патриарха это оказалось полной неожиданностью. Все, знавшие его, были под впечатлением исходящего от него излучения доброты — все чувствовали себя согретыми этой добротой святителя, который сочетал качества подлинного молитвенника с природной веселостью и добродушным юмором и полным отсутствием показного лампадного благочестия, наводящего уныние. Но никто не подозревал о той необычайной духовной силе, которая таилась в этом скромном и смиренном облике. Только после возведения его в патриархи обнаружилось, что с добротой нежной любящей души в нем сочетается несокрушимая твердость алмаза.

Отметим, что годовщина его патриаршего служения совпадает с годовщиною большевистского владычества, иначе говоря, — с эпохой явного гонения на церковь. Вступив на патриарший престол, он сразу всем сердцем восчувствовал, что Россия ждет от него подвига. Его смирение было смущено тем, что это ожидание подвига в верующих массах переходило в нетерпеливое ожидание чуда. И каждое его слово, каждое его движение показывает, что он решил исполнить архипастырский долг свой до конца, невзирая на последствия. В течение всего его служения не прекращаются слухи о предстоящем его аресте, расстреле. Но на всякие предостережения о грозящей опасности он отвечал со свойственной ему невозмутимостью. Зимой ему однажды было сообщено телеграфистом, что уже получена телеграмма о выезде матросов из Петрограда для его заарестования. Но и на это, и на сообщение, что матросы уже прибыли, и на просьбу

скрыться от разбойников, владыка отвечал: «Нет, я буду принимать просителей сегодня утром». И принимал просителей. К счастью, сообщение оказалось вздорным.

А врагам церкви и России — большевикам — он под угрозой расстрела сказал до конца всю правду. В одном из первых своих посланий он предал их правителей анафеме. Когда в Москве было получено известие о казни императора Николая II, он всенародно заклеил это злодеяние в смелой проповеди, сказанной среди переполненного молящимися Казанского собора, в духе и силе митрополита Филиппа. «Мы должны сказать всю правду, — говорил он, — хотя бы нас обвиняли в контрреволюционных стремлениях или даже грозили бы нам за это расстрелом». А к годовщине владычества большевиков он направил в совет народных комиссаров послание, которое производит впечатление раздавшегося с неба Божьего грома. Это — решительный и смелый обвинительный акт, в котором утверждается, что все большевистское управление Россией — ряд неслыханных злодеяний и преступлений. Заканчивается послание призывом прекратить междоусобия и казни, освободить узников из тюрем и грозным предостережением — всяк, взявший меч, от меча и погибнет.

Вспомним, что за один факт распространения патриаршего воззвания с анафематствованиями некоторые священники подвергались тюремному заключению и суду за «контрреволюцию», что через день после патриаршей проповеди о казни царя последовал арест одного московского священника за панихиду по царе, и мы поймем, что грозит патриарху за его смелые выступления. Если, однако, он жив доселе, это обусловливается, конечно, не тем, что он сам себя бережет. Возможно, что доселе именно смелость его спасала. Этот мужественный святитель успел стать знаменем для православного народа. Есть немало людей, которые смотрят на патриарха с теми чувствами, с какими некогда евреи взирали на медного змия в пустыне. И это обаяние святителя, эта мощь народных масс, которые вокруг него собираются в дни крестных ходов, доселе внушали боязливое опасение врагам церкви. Зимой в большевистских сферах говорили: «Мы знаем, нам центропопа трогать нельзя». И это недаром. Когда большевики попытались захватить Александро-Невскую лавру, в Петрограде они встретились с таким напором и

таким сопротивлением народных масс, что вынуждены были уступить. И до сих пор они не решаются из-за этого сопротивления проводить декрет об отделении церкви от государства во всем его объеме.

Патриарх, возглавляющий православный народ, — такова сейчас в России единственная внушительная сила народная, которая противостоит большевизму. Безумие и дерзость большевиков растет не по дням, а по часам. Уже получены известия, что патриарх подвергнут сначала домашнему аресту, а потом и тюремному заключению. Но если, не дай Бог, с ним случится что-нибудь недоброе, его дело не умрет. Его образ вдохновит борцов за Россию. И этим святым воодушевлением создастся та грозная сила, которая действительно будет в состоянии покончить с большевизмом.

## VII

Из всего сказанного видно, что на Севере жива та духовная и общественная сила, от которой мы можем ждать исцеления России. Материалистический идеал социалистического рая потерпел там полное крушение. В массах поколеблено материалистическое жизнечувствие. Именно, попытки ниспровергнуть всякую святыню вызвали чувство благоговения к святыне. В религиозном движении, происходящем в Совдепии, есть положительное начало восстановления духовных связей, разрушенных войною.

Здесь, на Юге, патриотизм все еще составляет монополию государственно-мыслящих классов, его носительница — героическая Добровольческая армия и тот, пока еще тонкий, общественный слой, который думает и чувствует в унисон с нею.

Иначе дело на Севере. Там идея отечества всеми выстрадана. Через церковь она проникла в широкие демократические массы. Я говорю о том, что я видел и осязал.

И вот, я обращаюсь к вам, дорогие и доблестные добровольцы: не смущайтесь тем, что здесь, на Юге, вы все еще преимущественно армия офицеров без солдат. Когда вы дойдете до родных вам равнин великорусских, вы всем существом вашим почувствуете возрождение той России, за которую вы сражаетесь. Вас подхватит народная волна, и донесет она вас на гребне своем до дальнего Севера; там ждут вас радостные слезы, молитвы и патриаршее благословение.

Дни тяжелых испытаний для России еще не кончились. Предстоит трудная и, быть может, долгая борьба за воссоздание нашей

государственности. Но уже есть те настроения и общественные элементы, на которые может опереться эта работа. Препятствия для нее велики. Но на Севере уже повеял тот дух жизни, который заставил русских людей почувствовать их национальное единство. Явился духовный вождь, который ежечасно подвизается за Россию: он призывает всех нас к подвигу и жертвам. Имеющий очи видеть и уши слышать поймет, что народ, родивший ту светлую духовную силу, которая явилась в героическом образе патриарха Тихона, духовно спасен; с этим связана и наша надежда на спасение русской государственности. Спасение это не может быть делом одной техники. Оно зависит более всего от факторов психических, от степени пробуждения нашего сознания, вообще от той силы духа, перед которой ничто — веление и мощь материальной культуры.

Я знаю, здесь, на Юге, вас посещают частые сомнения. Вы видите Россию еще больную, разорванную на враждующие между собой классы. И вы не знаете, жива она или мертва. Позвольте же мне, беженцу с Севера, ответить на ваши сомнения. Мы там терпели и голод, и холод, и издевательства, и всякую нравственную пытку. Но за то нам была дана великая радость увидеть начало воскресения народного. Там, в Москве, на Красной площади, нам явилось светлое видение собранной воедино России<sup>1</sup>.

И мне хочется без конца повторять вам: «Россия жива, она ждет вас в Москве».

И когда вы туда придете, вы будете встречены пасхальным гимном «Христос воскрес!»

---

## Примечания

# 1

Слова эти, произнесенные в 1918 году, теперь, когда выходит настоящее, второе издание лекции, являются, к счастью, уже анахронизмом. Теперь Добровольческая армия перестала быть исключительно офицерской.